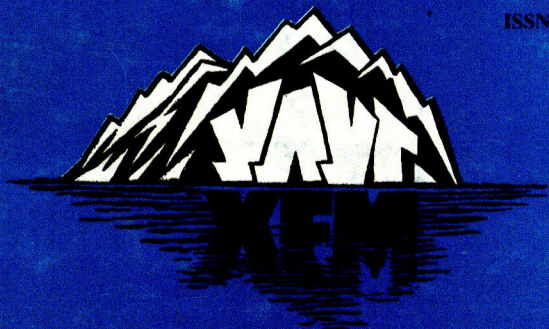


С(Тыб)
У-49

ISSN 0235.0688



Журнал Союза писателей Тувы



№ 2 (39) 116 2004 г.



**Журнал
тувинских
писателей**

Журнал основан 28 августа 1946 года

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

Главный редактор Ч. Куулар

№ 2 (39) 116

2004 г., июнь — июль

Редакция журнала “Улуг-Хем”

Кызыл — 2004

С (Тув)
У 47

Главный редактор
Ч. Куулар
Художник
Ч. Монгуш

Редакционная коллегия:
А. Даржай. У. Донгак.
Н. Куулар. С. Комбу. М. Хадаханэ.
Редактор выпуска Г. Принцева

Учредитель журнала: Правительство Республики Тыва, Государственный комитет по печати и информации, Министерство культуры РТ, Союз писателей РТ, творческий коллектив редакции журнала “Улуг-Хем”.

Журнал зарегистрирован в Тувинской Республиканской инспекции по защите свободы печати и массовой информации. Рег. № Т – 00028.

Литературно-художественное издание Улуг-Хем

На русском языке

**Набрано и сверстано на компьютерном центре журнала
“Улуг-Хем”.**

**Редакция журнала “Улуг-Хем”. 667000, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко, 57.**

**Формат 60x84^{1/16}. Гарнитура литературная. Физ. печ. л. 10,25
Тираж № 600 экз. Заказ № 967.**

**Отпечатано в Республиканской типографии Госкомпечати и
информации РТ. 667000, г. Кызыл, Щетинкина-Кравченко, 1.**

© Журнал “Улуг-Хем” , 2004 г.

© Республиканская типография, 2004 г.



К-Э. Кудажи—75

РОССИЯ МОЯ, ТУВА МОЯ

В дороге далекой и в сумраке сером
угасла бы песня в груди,
но есть у меня две надежды, две веры -
они как костер впереди.

Они освещают родные просторы,
как вечные солнце с луной:
вот солнце устало уходит за горы,
но всходит луна надо мной.

Россия моя и Тува моя,
хочу вас сердечно обнять,
друг друга так дополняете вы,
как будто дочь и мать.

И мой Улуг-Хем, в Енисей обращенный,
течет по России века,
и строек сегодняшних ритм учащенный
питает родная река.

Так вера и верность тувинца-арата,
огонь нашей дружбы большой
сливаются с верою русского брата,
сливаются с русской душой.

Россия моя и Тува моя,
хочу вас сердечно обнять,
друг друга так дополняете вы,
как будто дочь и мать.

Перевод М. Сергеева

ЦЕНА РОСИНКИ

В степи, в чащобе, на тропинке —
езде мне по сердцу роса...
Я наклонюсь к седой былинке,
увиду в зеркальце-росинке
твое лицо, твои глаза.

Коль я росинку поцелую,
погаснет твой волшебный взгляд.
Не поцелую...
Я тоскую.
Тебя, желанную, родную,
как юность, я зову назад.

Но не вернешься.
Невозможно
из гроба встать и жить опять.
В росинках грустно и тревожно
отныне будешь мне сиять.

Нет, не гони свое сияние!
И жизни лучшие часы,
и степи,
и хребты Саяна —
все светит в капельке росы!

Перевод Ю. Щербака

МОНГУН-ТАЙГА — СЕРЕБРЯНАЯ ТАЙГА

Странный уголок — Монгун-Тайга:
кажется, на россыпи и скалы
никогда еще ничья нога
твердо и надежно не ступала.

Голые литые валуны,
четкие безжизненные дали.
Неужели уголок Луны
мы среди Сибири увидали?

Бездыханно кратеры лежат —
где вы, громоносные вулканы?
И в воронках, как в больших капканах,
синий воздух, как пружина, сжат.

Здесь невольно думаешь о том,
что скафандр ты зря оставил где-то,
хорошо еще, что за хребтом
ждет тебя надежная ракета.

Да, Монгун-Тайга, ты — край земли,
дикие безжизненные горы...

Только что за смех звенит вдали?
Чьи там раздаются разговоры?

И тогда ты замечаешь вдруг,
открывая землю, как впервые,
что глядят восторженно вокруг
с вечной мерзлоты цветы живые.

И как небо — чист, красив, высок —
тишину бестрепетно нарушив,
девичий прозрачный голосок,
древней песней будоражит душу.

И, среди камней сыскав траву,
овцы бродят под пастушьи крики,
и стоят, и смотрят в синеву
смирные косматые сарлыки.

Как, земля, ты людям дорога
и такая, вздыбленная круто,
если даже и Монгун-Тайга
родиной является кому-то!

Не страшись труда и высоты,
не гляди на землю без участия –
и на камне вырастут цветы,
и в Монгун-Тайге родится счастье.

Сердцем чистым я люблю людей,
что пустыню к жизни воскрешают,
пишут книги и растят детей,
а застолье – песней украшают.

Оттого ты мне и дорога –
дикий вид твой, вечные просторы.
Оседлав твои лихие горы,
о тебе пою, Монгун-Тайга.

Перевод М. Сергеева

БЕСЕДЫ С КУДАЖИ

– Первые впечатления бытия, годы детства?

– Когда я родился, родители обратились к ламам за именем; чтобы скрыть, уберечь от злых духов, назвали Кызыл-Эник. При наречении был Сарыг-оол, так что его можно считать моим крестным отцом не только в литературе. Рос единственным сыном, меня любила и нежила тихая моя мама (прожила 96 лет). Я не отры-



вался от ее груди до самой школы, урывками, прячась за караганником, подбегал к ней. Думаю, от нее у меня творческие способности. Две бабушки-тетушки Кок-кадай и Чолдак-кадай любили рассказывать сказки вечерами, а еще любили слушать рев маралов в тайге (по древней тувинской традиции, – для долголетия), и я вместе с ними.

Отец мой Кыргыз Суванович был активным человеком, держал много скота, начал движение “дузаламчы” – помощь фронту, в годы войны был на Брянском фронте. Строгий, “языкастый”, хороший охотник.

В 1944 г. в составе делегации он оказался в Москве, когда Тува входила в состав СССР, а 26 июня 1945 г. – на параде Победы: Тока, Чымба, Чадамба, Кочетов и мой отец.

...Свою родословную знаю до пятого колена. Дед был участником Кобдинского сражения у генерала Максаржава, а по линии матери – есть ламы, они получили образование в Монголии и Тибете, подверглись репрессиям. По линии матери жива Дакый-Сюрюн (А.Н. Торжу), ей больше 90 лет.

– Где вы учились? Ваши учителя?

– Учился в Шагонаре до 7 класса. Помню, как поражен был: электрическая лампочка горящим пузырем казалась. Увидел в луже невиданное – свинью с пяточком и новым звуком для меня.

Впервые увидел фильм “Чапаев”, боялся огня пулеметов, лазил в клубное окно в клуб много раз – все думал, что Чапаев выплывет на этот раз. Поразила “Путевка в жизнь” – Мустафа.

Познакомился с Шулуу Сатом и Виктором Кызыл-оолом. Любил Пушкина, знал много его стихов на тувинском и русском. Учил меня С.Ч. Урояков – спокойный, добрый человек. Многих сверстников уже нет.

Годы учебы в педучилище расширили мой кругозор, играл в волейбол, хорошо рисовал – учил В. Тас-оол, открылся мир музыки: Л. Шевчук, Е. Близнюк, С. Кайдан – мои дорогие педагоги. Играл на балалайке, мандолине, чадагане в оркестре, “Рондо” Моцарта помню и сейчас. Пел в хоре. Сфальшивишь – ударят палочкой по лбу. Песни военных лет люблю напевать до сих пор. “Темная ночь” – едешь по дороге и поешь: “Со мной ничего не случится!”

На 4-м курсе встретил Сарыглар Маскыровну – с 1952 года вместе. Долгие годы она работала в книжном издательстве, а потом была партработником.

Со мной учились Чымба, Ортун-оол, Арбычыга.

Словесники В. Ладанова и А. Мазуревская приглашали на встречи Сарыг-оола, Саган-оола, Чыргал-оола. Они рассказывали о своем творчестве. Я стал писать стихи с 1948 г.

Написал рассказ “Шончалай” (1963) о любви, до сих пор его читают молодые люди. В 1958 г. вышел сборник стихов “Первый шаг”. Я пришел в литературу позже Кюнзегеша, Сувакпита. Вторая волна.

Потом работал в Кунгуртуге учителем всех предметов. Такое было время – не хватало учителей. Много читал всегда. Помню, отец привез из Москвы “Чингисхана” В. Яна. Я переводил родителям вслух отдельные сцены, они удивлялись. Запомнил афоризм: “У книги нет конца, у человека – вечности”. Знал наизусть “Чечек” С. Пюрбю и “Алдын-кыс” С. Сарыг-оола, потом встречался с прототипом Алдын-Херел из Саглы – уже старушкой.

– **Ваши московские встречи?**

– Учился в Москве в 1962–64 годах. Ходил в театры, видел знаменитых артистов. Слушал оперу Шапорина и

думал: сюжет “60 богатырей” может стать основой героической оперы. К нам на курсы приходили журналисты А. Аджубей и Е. Рябчиков, сын Чапаева, пограничник Карацупа. Слушал разных поэтов: Е. Исаева, В. Федорова, Ю. Друнину, Р. Казакову. У каждого своя манера, красиво читают свои стихи – я так не умею.

Заходил в Литинститут к поэту Монгушу Доржу. Он жил в одной комнате с Николаем Рубцовым – такой тихий, скромный, худенький, молчаливый, чистый, как ребенок. Сидели без копейки. Он был родом с Алтая: хочу увидеть Усинский тракт, Саяны, Туву. Был исключен из института, а приехал со сборником стихов “Сосен шум” и стал сразу знаменит. Поэт трагической судьбы. У меня в записной книжке есть его строки:

...Черны мои черновики, чисты мои чистовики.

Мне спать велят чистовики, вставать – черновики.

Я в Москве тогда писал лирическую повесть “Тихий уголок”.

– **Что дала работа в газете? Ваш образ жизни?**

– Я работал во всех газетах, был редактором многих. В “Тыванын аныяктары” до сих пор стоит мой заголовок – сам рисовал название. Эта работа познакомила меня близко с судьбами многих людей, побывал во всех районах – научился писать быстро, видеть главное. Стал первым председателем Союза журналистов, отличником печати. Никогда не был свободным художником – работал и писал.

Не люблю долго сидеть на одном месте. Природа Тувы богата и разнообразна. С ружьем исходил сотни километров вокруг Кызыла, в Улуг-Хеме знаю каждый уголок. Бывал в Уш-Белдире, Кара-Холе, на вершине Монгун-Тайги.

Осенью не могу сидеть дома. Тайга зовет, добывал медведя, марала, лося, белок. Соблюдаю заветы предков. Ездил с Сарыг-оолом, Сюрюн-оолом, друзьями с Улуг-Хема. Однажды заблудился в Ээрбекской тайге во время пантования. Тока ругался: “Вертолет хотел посылать за тобой”.

Природа помогает творчеству, освежает мозги, дает новый толчок. Кто я? Шофер, дачник, охотник, этнограф, психолог, исследователь жизни...

Рано встаю, люблю писать зимой. Люблю ходить один, чтобы не мешали думать. Дома хорошая библиотека, собирал старину из тувинского быта. Любимый афоризм: “Все подвергай сомнению”.

...Прозу пишу руками, пьесы – ушами, а стихи выхаживаю ногами. Не могу не писать.

В годы перестройки написал много публицистики: репрессии, экология, нравственность. Вышла повесть “Плач”, в театре идет “Дирде-Макдо”, лежит пьеса “Несломленный Пюрбю”. Хотел бы написать автобиографический роман, если хватит сил. Времени не скажешь “Подожди!”.

– **Вы много ездили, повидали мир, ваши впечатления?**

– Был в странах Европы в 1979 году – в Италии, Швейцарии. Конечно, высокая культура, особенно поразили прекрасные дороги. Однажды с поэтом Н. Доризо заблудились в Цюрихе. Я нашел дорогу по приметам. “Ты, как Будда, тихий, а вывел меня”, – шутил он тогда.

Потом, в 1984 году, была Юго-Восточная Азия: Индия, Пакистан, Сингапур, Малайзия, Индонезия – Суматра, Борнео. Знакомый азиатский облик людей, высокие темпы цивилизации, удивительная чистота: плевать нельзя – сразу штраф. Повидал много буддийских храмов, экзотическую кухню – пробовал “ласточкино гнездо” и ел змею. Мы все спорили тогда: где лучше – здесь или у нас, социализм или капитализм. Жизнь теперь рассудила нас. В группе нашей были писатели М. Ганина, Ю. Сбитнев, Р. Солнцев, М. Кильчичаков, С. Тарасов из Якутии.

На съездах и пленумах встречался со многими известными писателями. С. Михалков говорил в рифму: “Ну, Кудажи, расскажи и скажи...” Всегда целовался при встрече, дарил книги. Вспоминал тувинскую охоту – мы не могли найти ему валенки большого размера, в декабре 1981 года стоял сильный мороз, и добыча была.

А вообще мне довелось пожать руки Хрущеву, Брежневу, Горбачеву, Ельцину (чокался с ним), видел папу римского и Далай-ламу. Был в Средней Азии, Якутии, Грузии, Монголии. Все сравнивал и исследовал – обычаи, характеры. Как быстро летит время, кажется, вчера все это было...

* * *

Народный писатель Кызыл-Эник Кыргысович Кудажи родился в год Змеи, под созвездием Стрельца. У него независимый характер, ясный ум, любопытство первооткрывателя, он впечатлительный, эмоциональный. Жена добавляет: предан семье, честный, слишком принципиальный, открыто говорит людям о недостатках, остро переживает потом.

Всегда модно одет, говорит образно: – “Юрта Сарыг-оола будет стоять вечно”, переделает известную песню на свой лад, с чувством юмора. Многих рекомендовал на учебу в Литинститут, когда был председателем СП.

За плечами большая жизнь – 30 книг. Он самый плодовитый из тувинских писателей, работал во всех жанрах. 17 пьес – от комедии до трагедии. Среди изданий – огромный роман в 4-х книгах “Улуг-Хем неугомонный” – энциклопедия жизни тувинского народа, – ставшая любимым чтением.

Почти в день его рождения родилась в Москве правнучка Алантос – как добрый знак. Старое старится, молодое растет. Пожелаем ему силы духа и здоровья!



С. Сюрюн-оолу — 80 лет

“Я РОДИЛСЯ СРЕДИ СИНИХ ГОР...”

Салим Сюрюн-оол — крупный тувинский прозаик, он занимает одно из первых мест в нашей литературе.

Он родился 15 апреля 1924 года в живописном местечке Ак Барун-Хемчикского кожууна. О месте рождения в одном из первых своих стихотворений он пишет “Я родился среди Синих гор...”. синие горы, синие выси. Синяя тайга, угрюмая и молчаливая, величавая и прекрасная... Величие и красота тех мест, безусловно, играли немаловажную роль в формировании мировоззрения будущего писателя.

Салим был крайне привержен родным местам. Действие его романов в основном происходит в их окрестностях.

Ему не было еще десяти лет, когда он лишился отца: мальчик сохранил очень мало скудных воспоминаний о нем. Его отец не умер, а ушел... ушел в свои родные места, на свою родину. Он был родом из Китая. Известно, что Салим китайского происхождения. От него тонкий и острый ум, трудолюбие и возвышенность. Отца его, китайского торговца, пленила красота тувинской девушки — остался жить среди синих гор, но позже был вынужден уехать в родные места... Салим воспитан матерью и ее родственниками.

Окончив начальную школу в селе Кызыл-Мажалык, свое образование будущий писатель продолжил в Кызылском педагогическом техникуме. Он тогда много читал, познакомился с мировой и русской литературой. И начались попытки самостоятельно пробовать перо. Рядом — “киты” тувинской литературы и учителя, которые готовы в любой момент помочь.

В 1952 году он опубликовал небольшой сборник стихов “Баштайгы ном” (“Первая книга”). Критика восторженно встретила ее: свой, ни с каким иным не сравнимый, почерк и манера писания. Видно, что, рожденный для того, чтобы стать поэтом, он отовсюду извлекает элементы поэзии.

Больше всего как и других тувинских поэтов, привлекала тема природы, родной земли, родной стороны. Характерно для его стихов то, что он без обильных выразительных средств, кратко и метко описывает место, предмет или чувство. “Жить так прекрасна, жить как хочется, — пишет в одном стихотворении. на первый взгляд простые слова, а на самом деле, они очень значимы. Не случайно это стихотворение стало песней, любимой песней народа.

Он больше всего прославился как прозаик.

Жанровый диапазон Салима Сюрюн-оола обширен: романы, повести, рассказы, пьесы, переводы, стихи. А также он хороший организатор, издатель, редактор, научный работник. Он — известный писатель, его книги по праву входят в золотой фонд современной тувинской литературы. Широкую популярность он получил после цикла повестей: “Ынакшыл-дыр” (“Это любовь”, 1965), “Озалааш хем” (“Глухая река”, 1968), “Лейтенантының даалгазы” (“Поручение лейтенанта”, 1970), “Кымның оглул?” (“Чей сын?”. 1977), “Кижиниң намдары” (“Биография человека”), 1983), “Авазынга даңгырак” (“Клятва матери”, 1973), “Ногаан ортулук” (“Зеленый остров”, 1986”. Читая книги Салима Сюрюн-оола, “болеем душой” об экологической катастрофе, о судьбе детей и внуков своих, страдаем совестью болеющих, видя воров, двурушников, убийц.

Он принес в литературу прекрасное знание народной жизни. Об ополчении и о быте тувинских сел в годы Великой Отечественной войны мы узнаем из повести “Поручение лейтенанта”. Сюжет взят из жизни самого писателя. В повести “Глухая река” он изображает волны революции и гражданской войны в глухой местности долины реки Ак. В произведениях Салима Сюрюн-оола главное не внешние события, а внутреннее состояние действующих лиц. Этим они и захватывают читателей.

Салим Сюрюн-оол был писателем, наделенным острым социальным зрением. Он поднимал злободневные вопросы своего времени: о пристрастии молодежи к алкоголю, об утрате традиционных обычаев... Он сумел разглядеть, как меняется под влиянием нового уклада жизни мораль общества. Это особенно видно в его романах “Өске кадай”

(“Чужая женщина”), “Тывалаар кускун” (“Ворон, умеющий говорить по-тувински”). С. Сюрюн-оол — тот писатель, который умел держать своими повествованием читателя в напряжении. Это особый дар и талант.

Писал пьесы: “В саду”, “Об этом позже”, “Незванный гость”, “Вы опоздали, доктор”.

Салим Сюрюн-оол был талантливым писателем. Мастером пера, который написал более 20 книг. Для его произведений характерны эпическая широта изображения, динамичное развитие сюжета, интерес к сильным характерам, важным философским, социальным и этическим проблемам времени. Его проза — плод глубоких раздумий писателя над судьбами людей и острыми проблемами современного ему мира. В них утверждается идея торжества добра над злом, жизни над смертью.

Салимом Сюрюн-оолом осуществлены переводы на тувинский язык произведений классиков мировой и русской литературы. В его переводах вышли в свет “Круглый год” (1951) С. Маршака, “Павлик Морозов”, В. Губарова, “Когда это бывает”, А. Рылова, “Первоклассница”, Е. Шварца, “Фонарики”, А. Барто, “Красная шапочка”, Ш. Перро. “Конек-Горбунок”, П. Ершова, “Сами”, Н. Тихонова, “Бородино”, М. Лермонтова, “Подлинная история А-Кью”, Лу Синья, “Наш Ильич”, В. Бонч-Бруевича, “Донна Кармела”, Го Можо, “Сказки”, А.С. Пушкина и многие стихи русских и советских поэтов.

С. Сюрюн-оол принимал активное участие в воспитании молодой литературной смены. Он был руководителем литературного объединения “Дамырак” при газете “Тываның аныяктары”. “Выходцами” их него являются современные талантливые поэты, писатели такие как А. Ховалыг, Л. Иргит, Н. Куулар, А. Үержаа и многие другие.

Правительство, оценив его творчество, воздало ему самые высокие почести: Лауреат премии комсомола Тувы (1976), Заслуженный писатель Тувинской АССР (1984), Народный писатель Тувы (1984).

МЫСЛИТЕЛЬ С РЕКИ АК

Тувинский язык последнего десятилетия лишен богатства нюансов, полутонов, интонаций древнего нашего языка, он изменился и обеднел. Но осталась в наследство внутренняя сила и энергия. Остались свет и мощь русской классической поэзии, которые наши литературные аксакалы влили в родной язык, занимаясь переводами Пушкина, Лермонтова, Есенина на тувинский.

Шестидесятые годы. Золотое время расцвета тувинской поэзии. Сюрюн-оол тогда удачно ввел рифму в традиционное стихосложение, обогатив тем самым присущую тувинской поэзии музыкальность. Поэзия его настолько богата, что произведения автора даже несведущий читатель не спутает ни с какими другими. Пожалуй, никто лучше Сюрюн-оола не сказал о синих горах Тувы. И прозаические произведения Сюрюн-оола до сих пор современны. В “Клятве матери”, написанной в начале 70-х годов, он смело бичует алкоголизм, предвидит последствия чудовищного зла, уничтожающего прежде всего совесть человеческую. В романе “Чужая женщина”, в повести “Чей сын?” писатель анализирует причины духовного кризиса молодого поколения, оказавшегося жертвой социальных неурядиц застойных лет. Причину падения моральных устоев автор видит в отрыве от народных традиций. В начале 60-х годов писателем была впервые затронута тема репрессий. Главы, запрещенные к публикации в то время и включенные в современное издание, ярко подчеркнули характер главного героя Хеймерека. Там же, в повести “Это – любовь”, Сюрюн-оол тонко подметил черты национализма. Насколько парадоксально звучит сейчас наставление секретаря райкома партии Хеймереку: “Любовь между тобой, тувинским парнем и русской девушкой – это не частные отношения между двумя людьми, это – свидетельство дружбы между двумя народами. Так? Я думаю, так, и другие так думают. Соображай, время-то какое... Нельзя здесь ничего путать”. Тень политики над светлым и высоким чувством любви.

Этот нюанс, как мне кажется, был весьма нов вообще в советской литературе, и секрет успеха этого произведения в том, что сюжет был взят из реальной жизни. Были на свете люди, прожившие эти судьбы.

... В отдаленную сельскую школу приехала молодая учительница Мария. Случайно она знакомится с местным юношей Хеймереком. Зажигается любовь с первого взгляда.

Все настолько реально – и ревность Хеймерека, и сомнения его матери Чаш-Уруг в русской невестке. Молодые чувства не остановишь, они цветут, как верба весной. А вокруг – пересуды, зависть, сплетни. И шепнул злой язык, что отец и мать Хеймерека не любят русских и тайком сватали за сына другую девушку, Айдынмуу. Сплетни стали поводом ареста отца. Представителем КГБ случайно оказывается брат Марии, Николай Иванович Шаробаро.

Обстоятельства диктуют судьбы, поскольку люди создают обстоятельства. Хеймерек падает духом, его мучают подозрения. Он пьет, конфликтует с женой, деградирует. Он не готов к суровым реалиям жизни, недостаточно интеллектуален, чтобы понять, что происходит, и изменить ситуацию. Характеры героев выписываются все четче и детальнее. Все реальнее психологическая атмосфера тех лет.

В повести “Ак-Тош” (“Белогрудая”), написанной через двадцать лет, Сюрюн-оол раскрывает образы главных героев, совершенно полярных людей, Ондара и Оолака... через характер собаки. Мы видим, как губит город малообразованного и безработного, не нашедшего своего места в жизни Ондара. Мы отслеживаем отчуждение личности от общества, опустошение души человеческой. Отдушина героя – охота, но все глубже затягивают его корыстные интересы, и он продает собаку, Белогрудую, то за деньги, а то и просто за водку. Со щенячьего возраста привыкшая к хозяину Ак-Тош страдает. Оолак, выросший в городской среде, находит себя в труде чабана. Способный и чуткий юноша становится новым хозяином Ак-Тош. В возвращении человека к родной природе, к традиционной жизни писатель видит одно из средств спасения людей от моральной опустошенности, от духовного кризиса.

Талант предназначен обществу. Нельзя не согласиться с мнением критика Антона Калзана, высказанным в книге “Приметы роста”, где он отметил, что наиболее значительные произведения Сюрюн-оол создал на ниве тувинской прозы. Особо им выделена повесть “Ак-Тош”, выдвинутая правлением СП Тувы на соискание Государственной премии Тувинской АССР в области художественной литературы в номинации “Произведения для детей и юношества” – за создание национального характера и художественную достоверность. Именно в вышеперечисленных повестях наиболее ярко проявилась гражданская стойкость автора. Они по праву названы оригинальными произведениями. Цельность и завершенность темы, тонкая шлифовка характеров главных героев говорят о мастерстве писателя. Увы, околотературные интриги стали причиной того, что автор не получил премии.

Произведения Сюрюн-оола переводились на 18 языков народов СССР.

... Много тайн в личной жизни писателя. Он – сын китайца, по воспоминаниям близких родственников, эмигрировавшего от репрессий 30-х годов. Сверстники Сюрюн-оола рассказывали, что в молодости и он, и его жена Окутуй были необыкновенно красивыми людьми. К сожалению, у них не осталось детей.

Они воспитывали племянницу Риту. Сейчас она живет в Варшаве. Ее сестра Сайида пошла по стопам отца, Александра Хортезина, окончила училище искусств, стала художницей. Две сестры удивительно похожи друг на друга, похожи на изящных китайских куколок... Удивительная штука – судьба!

Справляя свое семидесятилетие, Салим Сазыгович на встрече с читателями говорил, что цыганка нагадала ему 80 лет жизни. Увы, 10 апреля 1995 года писатель скончался на больничной кровати в жестоких муках.

Я многому благодарно учусь у Сюрюн-оола. Например, чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в правоте и искренности его слов о том, что переводить классиков – это большое счастье и лучшая школа писателя. А он

переводил “Медного всадника” и “Цыганы” Пушкина, “Мцыри” Лермонтова, “Конька-Горбунка” Ершова, прозу Шолохова, Фадеева.

Именем Народного писателя Тувы С. Сюрюн-оола названа кожуунная библиотека в поселке Кызыл-Мажалык, откуда он начал свою дорогу в мир.

Салим СЮРЮН-ООЛ

ГОСТИ

Однажды в полдень старик сидел, скрестив ноги, и пил горячий крепкий чай с молоком и с солью. Вдруг залаяли собаки.

– Пойди, старуха, посмотри, что там такое, – сказал Одан-оол. Старуха вышла.

– Ой, внучек! Ой, старик, да выходи ж ты скорее! Внук наш приехал! – раздался ее радостный голос.

Старик поставил чашку и выбежал из юрты. На гнедом коне ехали двое. Впереди сидел их зять Кара-оол. Старик его сразу узнал. А кто сидел за его спиной, не мог разглядеть.

– Кто там сзади? Не пойму...

– Эх ты, старый, не видишь, кто! Да это же наш внучек, Шериг-оол!

Старик, весь подаваясь вперед, быстро пошел навстречу. За ним заспешила и старуха. Пока они добежали до коновязи, Шериг-оол уже соскочил с коня. Старики стали его обнимать.

– Ну как, перешел в четвертый класс? Какие отметки?

– Да, дедушка, перешел. Отметки хорошие.

– Ты что, старый, пристаешь, не терпится? Ребенок издалека приехал, в юрту войти не успел, чашку чаю не пригубил, а ты уже с расспросами и сразу про ученье! Спросил бы лучше, как доехали!

– Да, внук ваш оказался плохим наездником, – сказал Кара-оол. – Едва довез его. Все кряхтел: то там ноет, то тут болит...

А Шериг-оол в это время стоял, прижав локти к бокам, и боялся шелохнуться: его ноги обнюхивала огромная черная

собака. Она нюхала так старательно, что ноздри ее шевелились. Шериг-оол с замиранием сердца ждал, когда это мученье кончится. А взрослые говорили о своем и не смотрели на собаку.

— Ничего, у меня всему научится, — услышал он голос деда. — Это ведь мой внук! Есть у нас конь, есть годовалые бычки. Будет на них ездить.

Что это?

Шериг-оол живет в городе, в Кызыле. На чайлаге он никогда не был. Все ему ново, все интересно.

Вечером овец стали загонять в загон.

— Дед, а разве под деревьями им ночевать нельзя? Почему в загон?

— А потому, что здесь, в тайге, и волки, и медведи водятся. Если ночью овец спугнуть, так побегут, что не догонишь.

Стемнело. По всему небу рассыпались крупные звезды. Тишина. Ни ворона не каркнет, ни сорока не вскрикнет. Даже собаки и те легли. Только коровы жуют, тяжело вздыхая.

— Оог! Оог! — заорал кто-то невдалеке.

Собаки наострили уши, переглянулись и залаяли.

— Кто это? — с испугом спросил Шериг-оол.

— Козел, внучек, козел. Но не такой, каких ты знаешь. Это не домашние козы. Это косули — легкие, быстроногие жители нашей тайги.

— Косуля? Козел?.. А почему орет? Темноты испугался, что ли?

— Нет, просто шорох услышал или дым почуял.

Вдруг раздался какой-то резкий, непонятный крик, будто буран налетел. Стало как-то неприятно и даже страшно. Шериг-оол прижался к деду:

— Что это?

— Не бойся, внук. Это достак-чаак. Так он летает.

— А какой он? Наверное, огромный? Страшный?

— Нет, птичка эта маленькая, чуть больше воробья,

только потолще. Летом она серая, воротник желтый, а голова с черными полосками, будто надели на нее уздечку. Это ночная птица. Летает она не как другие: вверх поднимается прямо, стрелой, а летит так быстро, что и рассмотреть нельзя, только свист проносится. Взовьется высоко и замрет в воздухе. Крыльями машет и висит, как привязанная. Потом снова устремится вверх, а потом вниз падает, как камень. А когда падает, кричит: “Достак-чаак! Достак-чаак!”

– Идите ужинать! – раздался из юрты бабушкин голос. “Эх, жалко... Если б не бабушка, еще бы послушал про птиц!” – подумал Шериг-оол.

Косули

– Ой, дедушка, какие хорошенькие!

Он снова посмотрел на полянку, но там никого не было.

– Дедушка, где же они?

– Убежали. Ты их испугал.

Дорога шла мимо молодых лиственниц. Шериг-оол вздохнул.

– Дедушка, а козлятина вкусная?

– Прекрасное мясо, внучек. Ешь и не оторвешься!

– А почему же ты не стрелял? Ведь у тебя было ружье.

Чабан улыбнулся:

– Что, козлятины хочешь попробовать?

– Хочу.

– Вот осенью, когда снег выпадет, жирного рогача убью и привезу тебе почки. А сейчас козлят убивать нельзя. Пусть растут.

Догорал закат. Затихли птицы. Даже кузнечики угомонились. А ночные птицы еще не вылетели. Тишина.

Шериг-оол все думал о козлятах.

– Дедушка, а почему косуля к ним спустилась сверху? Разве она не все время с козлятами?

– Нет, милый, она с ними только ночью.

– А днем?

– Днем она прячет их от хищников.

– Значит, козлята понимают, что им говорит мать?

— Она их приучает к осторожности, они ее слушают. Утром она приводит их в заросли. Как почует опасность, бьет копытом о землю и убегает. Козлята понимают, ложатся. И будут лежать целый день до самого вечера, пока мать не вернется.

Ночное нападение

Ночь. Пасмурно. Не видно ничего, будто в яме. Гром гремит где-то далеко-далеко, как под землей.

Юрта чабана похожа на дом для приезжих. Почти каждую ночь кто-нибудь почует. В эту ночь остановился один старик из колхоза.

Бабушка сказала Шериг-оолу:

— Это твой дядя.

После ужина расположились спать. Вдруг все три собаки отчаянно залаяли и побежали куда-то вниз. Чабан тут же выскочил из юрты.

— Куут! Тру! Лови! — закричал он.

— Ох, что же это такое? Неужто зверей почуяли? — запричитала лежавшая на кровати бабушка.

По лаю собак было ясно: что-то недоброе случилось. Или воры подкрались, или звери подошли. Заржали в тревоге лошади, сорвались с привязи и с шумом, храпом подбежали к юрте. Забегали овцы в загоне. Замычали коровы. Чабан ласковым голосом пытался успокоить овец. Потом подбежал к юрте и крикнул гостю:

— Что-то случилось, лошади сорвались с привязи! Выходи!

И выстрелил два раза в воздух. По тайге гулко пронеслось эхо. Все немного успокоились. Старались понять, что же произошло. Вор? Прячется?

— Нет, — сказал дедушка, — это не вор. От вора лошади так не побегут. Видите, как они испугались, колышки даже вырвали! Тут был медведь или волк.

— Дедушка, они не вернутся?

— Тш... так нельзя говорить, — испуганно сказала бабушка. — У земных существ свои дороги. Они сами знают, где и когда им пройти...

Тут снова взвились собаки. Сильнее прежнего забеспокоился скот. Чабан снова выстрелил в воздух. Было слышно, что собаки на кого-то нападают, тот обороняется, идет драка. Послышалось густое сопение...

— Медведь! Выходи сюда, старик! — закричал дедушка дяде.

— Внучек, иди ко мне! — испуганно проговорила бабушка, а сама укрылась с головой.

По телу Шериг-оола пробежал холодок. Он вскочил со своего войлока и шмыгнул к бабушке под одеяло.

— Где ты пропал? Давай скорей лучину! — кричал дедушка.

— Боюсь выйти, — дрожащим голосом ответил гость. Он схватил топор и нож и начал стучать ножом по лезвию топора.

— Лучину! Скорее! Медведь подходит! — крикнул дедушка.

Было слышно, как медведь приближался к юрте. Овцы метались по загону, дробно стучали копытцами. Ревели коровы. Как тут усидеть в юрте? А гость — ни с места, только

стучит своими железками: думает, что зверя напугает. Шериг-оол вскочил, выхватил из печки горящую головешку, выбежал из юрты и передал ее дедушке. Вскоре недалеко от юрты загорелись два костра. Свет их был виден далеко. Дедушка заранее заготовил кучи хвороста, и вот теперь они пригодились.

Медведь стал отступать. Было слышно, как он идет, ломая сучья. Скот очень боится этих звуков. Собаки бежали за зверем по пятам.



Летняя ночь коротка. Начало светать. Медведь скрылся в тайге.

Шериг-оол видел, как дед вошел в юрту, тяжело поставил ружьѣ и шагнул к деревянному бачку, в котором был хойтпак – кислое молоко. Пил долго. Чашку за чашкой. Сколько их выпил дедушка? Потом он вытер губы рукой и вдруг закричал:

– Что вы за люди! Что с вами сделал страх! Вы хуже маленького ребенка!..

Ему никто не возразил. Бабушка вылезла из-под одеяла.

– Дай попить чего-нибудь холодненького, – попросила она. Шериг-оол увидел, что бабушка вся мокрая от пота.

– Ох, сердце... – вздохнула она.

Чабан не шелохнулся. Он курил. Тогда Шериг-оол встал и подал бабушке чайник с чаем. Та схватила его и начала пить прямо из носика.

– Мне тоже налей, племянничек, — попросил гость. — Пить хочу. Все во мне дрожит...

Так и прошла бессонная ночь. Утром косари из соседнего аала зашли по пути в юрту чабана. Долго говорили о медведе. Шериг-оола похвалили. Но самую большую похвалу получили чабан и его собака.

Перевод М. Ватагина





На заднем плане слева направо: Ю.Кюнзегеш, Д. Ооржак, К-Э. Кудажи, Е. Танова, Д. Куулар, С. Сюрюн-оол; А. Даржай. На переднем плане С. Михалков. Декабрь, 1981 г.

КОРШУН

Подражая ржанью жеребенка,
что в ночи отстал от табуна,
по — над степью коршун кычет громко,
А вокруг жара и тишина.
Смотрят вдаль немые истуканы.
Коршун в жарком небе мечет круг.
Тишина. Могильные курганы.
Я в степной дали увидел вдруг
поле боя, древнее сраженье,
страшных мертвецов расположенье...
Коршун кычет в небе утром рано.
Вдруг меня накрыло тенью зла:
я увидел образ Чингисхана,
что над миром распростер крыла.

Перевод Давида Самойлова

ВСЕМУ СВОЙ ЧЕРЕД

Кызыл-Дагские мои луга
мне босыми не топтать ногами.
На побережье свищет сыгырга
но не та, что пела вместе с нами.

Отзвук той давнишней чистоты
из моих семнадцати нахлынул...
Но уже не возродят мечты
колдовские чары полнолуныя.

Что ж, всему на свете — свой черед,
есть Весна и есть Зима — не спорю.
Возмужалый юного поймет
и в старенье не увидит горя.

Что жалеть о юном озорстве!
Я прочнее по земле ступаю,

обещаний зря не рассыпаю,
строже стал судить я о себе.

Но порой так хочется туда,
на заросшие тропинки детства!
В грустный час вернуться в те года,
на красу былую наглядеться.

Грязь стряхнув, босым вбежать в луга,
плыть, как в волнах,
в майских травах нежных.
И о том мне свищет сыгырга
над лугами, в тальниках прибрежных.

Перевод Светланы Козловой



СЕРДЦЕ

В раздумьях о судьбе
проник в глубины сердца.
Там тополь одинокий,
на ветру качаясь,
вбирает трепетно в себя
все звуки мира,
пыль придорожную
покорно поглощает...

О, нет, не тополь вовсе
так звенит листвою —
то сердце мое вновь
до боли сжалось
от черной клеветы,
глумленья и насмешек.

Пьет тополь жадно
сок земли целебной,
который по стволу
спешит к ветвям и листьям,
а те заздравную
его корням слагают.

О, сердце, пей и ты
как тополь, соки жизни,
стихами зеленей,
что дерево — листвою!

Перевод Людмилы Санчай

ОДИНОКОЕ ОКНО

Напротив дома моего
горит всю ночь окно,
горит — как будто бы зовет
скорей помочь оно.
Раздвинув шторы, в нем стоит,
дыханье затаив,

старик и смотрит в синих звезд
пылающий разлив,
иль, может быть, не вдаль пространств,
а в глубину времен,
в свои минувшие года
тоскливо смотрит он.
Иль где-то путница ему
знакомая видна:
за красной солью
далеко уехала она.
Надежный, крепкий посох он
навек потерял
и, безутешен, сиротлив,
перед окошком встал,
и по щеке его ползет
тяжелая слеза,
когда не звезды видит он,
а скорбные глаза
его покинувшей жены
на месте тусклых звезд,
когда
перед глазами вновь
встает глухой погост.
Мне кажется, что свет кричит,
что как подранок он,
что раздаётся в тишине
невыразимый стон,
что одинокое окно,
словно дитя в ночи,
скорбит, печалится, да так,
хоть самому кричи,
хоть самому кричи и вой
при звездах и луне...
Неужто одиноким быть
когда-нибудь и мне?
Неужто всем нам суждено
такое испытать:
у одинокого окна
себя тоской пытаться?..

О, люди! Как беспечны мы,
пока не грянет час
и свет, как колокол ночной,
не растревожит нас!
Всмотритесь в окна. Если свет,
там кто-то одинок —
от тишины, тоски и звезд
полночных изнемог.
Спешите, люди, к людям,
чтоб не опоздать помочь,
чтоб сердце он не пережег,
тоскующий всю ночь!
Но почему-то не всегда
торопимся на крик,
и безутешно у окна
всю ночь стоит старик.
А одинокое окно,
словно дитя в ночи,
горит, печалится, да так,
хоть самому кричи!

Перевод Владимира Евпатова

РАНЬШЕ

Бывает так,
бывает так,
беды исчезнет
черный знак,
пройдет глухой
морозный снег,
светло
жить станет человек!..

Зато соседи —
в пять минут —
откуда лишь
берется пыл?!—
все прошлое переберут
его:

- А раньше-то
ведь был...
О слово “раньше”!
Ты как мед,
любовь и молодость моя.
Но есть сосед,
и он не врет,
и “раньше”
жалит, как змея.

Перевод Ивана Слепнева

ДЕВОЧКА В ОЧКАХ

Твое лицо во сне я вспоминаю,
ах, как я счастлив в тех бываю снах!

Вот снова осень. Птицы улетают.
И в сон вбегает девочка в очках.

Турпан летит над светлою водою
и в небе одинок его полет.

Турпан летит, а мы стоим с тобою,
не зная, что и наш придет черед.

Да, время есть. Протяжна песня птицы.
Мотив разлит печально в небесах.

Да, время есть. Но мы еще не слышим,
что время бьет разлуку на часах.

Да, время есть. Слетает лист осенний
и падает, кружась, на перекат.

Да, время есть, но нет уже спасенья,
и птиц сжигает медленно закат.

Да, время есть. Но мы еще не знаем —
и разве можно знать все наперед?

Летит турпан, от грусти изнывая,
и о любви небесной нам поет.

Прошли года. Не много и не мало,
а двадцать лет уже с тех пор прошло.

И вот уж и душа любить устала,
но воздух бьет упрямое крыло.

Твое лицо во сне я вспоминаю,
ах, как я счастлив в тех бываю снах.

Вот снова осень. Птицы улетают.
и в сон вбегает девочка в очках.

Перевод Евгения Антуфьева

ТО БУДУ Я

На склоне дня, на склоне дня, седой-седой
пойдет к околице старик, взяв посох свой,
пойдет вечернею зарей взглянуть в луга,
где бегал некогда босой — то буду я.

Глаза прищуриив, гряды гор окинет, тих.
Мальчонку вспомнит, что не раз там лазил, лих.
Все добывал хая-чугу¹ — болела мать,
чуть в пропасть как-то не упал — то буду я.

Он улыбнется, вспомнив вдруг, — опять удал,
как черноокую одну здесь поджидал,

¹ Хая-чугу — мумие, горная смола

как ненасытно целовал, от счастья пьян,
как будто разум потерял, — то буду я.

Достанет трубку, табачок наш старичок,
на траву сядет, и дымок вспорхнет высок,
окинет взглядом тополей зеленый строй,
что посадил когда-то сам, — то буду я.

Вздохнет, что подвиг им в бою не совершен,
что кровь за родину свою не пролил он.
А все же, старый человек, поймет, ей-ей,
что прожил честно меж людей, — то буду я.

Налюбовавшись красотой зари ночной,
он снова мыслью обоймет свой век земной,
обнимет внука, потеплѐв: “Вот мой рассвет!
род мой на свете не умрет!” — то буду я.

Перевод Алексея Смольникова



К 90-летию Кызыла

Ольга БУЗЫКАЕВА

ПЕРВЫЙ МЭР КЫЗЫЛА: КОМИССАР С ЗОЛОТЫМ ЗУБОМ

Двадцать одно имя руководителя столицы республики с 1936 по 2003 год значится на стенде в мэрии города. И первым из них - **Серен Кужугет**.

История, как известно, не знает сослагательного наклонения, но если бы Сарыг-Серену судьба предоставила иной выбор, он вряд ли согласился бы на него. Ибо офицерская честь была для него дороже собственной жизни. Кто он, по паспорту Серен Арапаевич Кужугет, по прозвищу “Рыжий Серен” и “Комиссар”. А еще – “враг народа” по печально известному делу “чурмиттажынцев” 1938 года. А еще - первый мэр столицы Тувы.

Из архивной справки: “В списках и характеристиках участников разгрома контрреволюционного мятежа 1930-1932 гг. значится Серен (так в тексте) – комиссар кавдивизиона. С первых дней контрреволюционного мятежа был назначен командиром отряда, затем командующим воинских сил, направленных на подавление контрреволюционного мятежа в районе Хемчика.

Постановлением Совета Министров ТНР № 109 от 1 апреля 1932 г. председатель Военного Совета ТНР Серен назначен начальником гарнизона.

Постановлением № 1 комиссии по присвоению наград при Правительстве ТНР от 27 мая 1933 года Серен представлен к ордену Боевого Красного Знамени.

Постановлением III Чрезвычайной сессии Малого Хурала ТНР председатель Реввоенсовета ТНР Серен избирается членом Правительства ТНР.

Постановлением IV сессии Малого Хурала ТНР от 9 января 1935 года Серен освобожден от занимаемых должностей.

С мая 1936 года по 10 февраля 1938 года С.А. Кужугет работал председателем Кызылского самоуправления”.

Вот и все. И никаких более комментариев, объяснений.

Попробуем восполнить пробелы воспоминаниями родственников.

**Он завещал написать на своей могиле:
“Комиссар, командир кавполка”**

Владимир (Улар) Серенович Кужугет, сын:

“Отец был родом с Барун-Хемчика, из семьи охотника. И у отца была эта страсть - охота. Он был метким стрелком, и меня с детства приобщил к охоте. Жили мы в местечке Бегреда Пий-Хемского района. К отцу частенько наезжали военные, не убывали, помнится, без удачливой охоты.

По рассказам старших знаю, что в 1934 году отец как командир кавэскадрона правительством Тувы был награжден маузером и конем.

Когда в 50-х годах мы переехали на жительство в Бай-Хаак, я пошел в школу. Отец работал конюхом. Утром рано вставал, кормил-поил лошадей, запрягал и выдавал их рабочим. Вечером рабочие сдавали лошадей. Их снова надо было распрягать, поить-кормить, чистить, сушить сбрую и прочее снаряжение. Я ему помогал в этой работе, гонял лошадей на водопой.

Еще я работал водовозом. В Бай-Хааке зимой и летом постоянно были проблемы с водой. Утром я ходил в школу, а после обеда возил воду. Или, наоборот, утром возил воду, а после обеда шел в школу. Учились мы с сестрой Тамарой в русской школе (в тувинскую нас не принимали из-за судимости отца), а в русской школе до этого никому не было дела.

Кроме работы конюхом, отец по-прежнему охотился. Вставал он очень рано. Все время повторял тувинскую поговорку, смысл ее таков: “Длинный сон и обжорство - потеря ума, самая нехорошая привычка человека”. В 1964 году, когда я уже отслужил в армии, отец будил меня аж в четыре часа утра. Я запрягал Сивуху, и мы с отцом

отправлялись пасти овец. Чистили кошары, загоны для коров, освещая их лампой. Отец был очень работающим. У нас в семье жил еще мой двоюродный брат Ким. Он ленился, не хотел учиться. Отец добился того, чтобы его призвали в армию. Отслужил он в Приморье, на флоте, домой вернулся совсем другим человеком.

Отец много читал, выписывал газеты. Когда в 60-х годах вышло постановление об его оправдании, он тут же пошел в КГБ к Артему Борбак-оолу. Задал ему вопрос: "Ответьте, за что я сидел?" Отец говорил, что Артас, Полат, Намчак были причастны к политическим репрессиям в Туве.

До конца своих дней он жил в с.Целинном, там и умер. Последнее время работал сторожем в Доме культуры. Сторож – не сторож, но ему до всего было дело: почему государственные корма разбазаривают, почему в ДК нет самодеятельности и т.д. и т.п.? Мать порой даже одергивала его: "Тебе-то какое дело до этого?!" Но он вот такой был - равнодушный человек.

Отец очень гордился своим прозвищем: "Комиссар". Он и нам завещал на его могиле написать: "Комиссар, командир кавполка". Мы его волю исполнили. После



Сюрюнмаа Кужугет, Серен Кужугет 1964 г.
(Фото из семейного альбома Кужугетов)

его смерти в 1984 году в Целинном одну из улиц в его честь именем Кужугета Серена назвали.

Мама умерла раньше него на два года, хотя вроде не болела. Отец не пил спиртное и не курил. А мать курила. Помню, еще в детстве стоило ей потерять свою трубку – трагедия! Тут же всей семьей начинали ее искать. Отец не переносил дыма, ворчал на мать.

В тюрьме отец был поваром, затем – столяром. Стал замечательным мастером на все руки. В военное время в тюрьме делали для фронта лыжи.

Так вот он с другими заключенными вместо 30 тысяч пар лыж изготовил вдвое больше. За это ему и скостили два года, досрочно освободили.

Помню, в кинотеатре (в том самом здании, где его судили) он с каким-то русским мужиком-столяром сделал кресла – пятьсот с лишним штук. Новинка была для того времени. Я гордился отцом”.

Мы не отреклись от отца и своей фамилии

Тамара Сереновна Судер-оол, дочь:

“Я совсем была маленькой, но, мне кажется, помню, как его забирали. Надел он плащ, подпоясался военным ремнем. Я заплакала. Те люди, которые пришли за отцом, успокаивали меня: “Не плачь, девочка”, дали мне сахар в пакетике. Остались мы с мамой. Брат Владимир был еще младше меня. Мы обитали зимой на Ондуме, жили очень бедно. Летом через Енисей переправлялись на лодке. Все переправятся, снег уже пойдет, а мама, бедная, все бегаёт, ищет, кто бы нас переправил. Когда стало невмоготу и скот весь растащили, мы перебрались на жительство в местечко Тонмас-Суг, поселились здесь в юрте.

За хорошую работу в местах лишения свободы отца освободили досрочно: вместо восьми лет он отбыл шесть. Было это в августе или октябре 1944 года. Мне было восемь лет, а брату Владимиру шесть. Старшая сестра Хувар жила своей семьей, у нее уже был сын (впоследствии Ондар Вячеслав станет талантливым травматологом), сейчас он в Подмосковье живет и работает по специальности.

Еще у нас есть три старшие сестры - Дандар Валентина Сереновна, Куулар Елена Сереновна и Маады Лидия Сереновна. Пенсионерки, живут в с.Целинном.

Окончили мы с Владимиром школу в Бай-Хааке, поступили учиться дальше. Я стала учителем русского языка, а брат – зоотехником. Когда мы с Владимиром завели свои семьи, родители переехали на жительство в с.Целинное. Здесь отец заведовал МТФ. Добросовестно и честно работал.

Отец был очень начитанным, много знал и много рассказывал. Мы еще в школу не ходили и читать не умели, а по его рассказам уже знали про Робинзона Крузо.

Рассказывал отец про себя смешной случай. Когда он с другими тувинцами поехал учиться в Тверь, в Абакане пошли в кинотеатр. Впервые смотрели фильм. И во время его просмотра так увлеклись изображаемыми в нем военными действиями, что загорелись разыскать ту самую лощину, где убили героя. “Надо утром туда сходить и забрать оружие...” Переводчик кое-как им растолковал, что это невозможно, что это всего лишь картина.

Отец был военной выправки, очень аккуратным был. Как и подобало военному человеку, всегда до блеска чистил обувь, даже с собой носил обувную щетку и бархотку. Он был знаком с Максимом Мунзуком. Отец в свое время привез его на коне из Элегеста в Кызыл, устроил барабанщиком в кавэскадрон. Также отец был знаком со знаменитым танцором Махмудом Эсамбаевым, который не раз с концертами приезжал в Туву.

Мама, Сюрюнмаа Кундуспаевна, училась в школе № 2 на фармацевта, здесь тогда объединенная школа была, учили и специальностям. Она тоже, как и папа, была большой аккуратисткой. Я более 40 лет учительствовала, преподавала русский язык.

Вплоть до замужества все дочери носили фамилию отца. Как бы нам ни было трудно, после репрессий отца мы не отрекались ни от него самого, ни от его фамилии”.

Тимур Уларович Кужугет, внук:

“Я хорошо помню деда. Говорят, что я его копия, очень на него похож. Помню, у деда постоянно несколько конфеток

было в кармане для нас, его внучат. Еще он приходил к нам в гости, записывал на стареньком магнитофоне свои воспоминания, надиктовывал. К сожалению, мы тогда не понимали их ценности и не сохранили. Жили мы в Целинном, по соседству с ним. Он жил на улице Степной, ныне эта улица именем деда названа. Дед умер в 1984 году, когда мне было десять лет. Поэтому я, конечно, помню его. Бабушка умерла в 1982 году.

В 1996 году мои родственники проводили в Целинном праздник - день памяти отца и деда Кужугета Серена Арапайовича. Устроили спортивные состязания, учредили призы, которые получили не только победители, но и проигравшие – за волю к победе.

В январе 2003 года в администрации г.Кызыла праздновали 100-летие со дня рождения деда. Собралось только прямых родственников - детей, внуков, правнуков - около 150 человек.

Моя мама Кужугет Тоюнмаа Степановна 25 лет проработала участковым врачом в Целинном, ей присвоено звание “Заслуженный врач Республики Тыва”.

Татьяна Алексеевна Куулар, племянница:

“Кужугет Серен Арапайович и мой отец Кужугет Белек-Баир были двоюродными братьями. Мне Серен Арапайович приходился дядей, но я его считала своим дедушкой, так и звала - дедушка.

Звали его все “Сарыг-Серен” (Рыжий Серен), поскольку он действительно был светловолосым, рыжим. Также до самой его старости у него было прозвище “Комиссар”. Народ и песню тувинскую о нем сложил. В переводе на русский язык смысл ее таков: “У Сарыг-Серена - первого из тувинцев были зубы золотые. Сарыг- Серен был первым тувинцем - военным”.

В 30-х годах на Хемчике вспыхнул мятеж. На его подавление был направлен дедушка. Когда мятеж был подавлен, Кужугета повысили в звании, стал он комиссаром полка. Окружили его почетом. Даже песня о нем появилась. В переводе на русский язык она звучала так: “Построил Сарыг-Серен 60 богатырей своим золотым зубом. Построил 80 богатырей и саблей победил врага”.

Однако прошло время, и некоторые стали критиковать Кужугета, что-де он неправильную тактику избрал, расстреливал только главарей мятежа, а рядовых отпускал, что надо было и их тоже всех подряд расстреливать.

Вся эта критика сказалась на здоровье Кужугета. Он заболел и попросил освободить его от командования армией. Его освободили и назначили председателем администрации Кызыла. Примерно полтора года он проработал в этой должности. Но его постигла неудача: в это время в Кызыле сгорела электростанция, располагавшаяся в деревянном домике, а дедушку признали виновным в пожаре и осудили на три месяца лишения свободы условно, с должности сняли. Тогда дедушка занялся личным хозяйством, держал скот, пахал землю, выращивал хлеб.

Помню, поехала я к дедушке в гости, и он дал мне две курицы. Это было в диковинку в то время: тувинец – и кур разводит. Дедушка был очень подвижным, энергичным, высоким, стройным, спортивного телосложения, с коротко стриженными волосами. Военная форма была ему к лицу. Было такое впечатление, что он родился военным.

Последние годы он жил в Целинном, заведовал МТФ, которая располагалась в живописном месте: с одной стороны сосновый бор, с другой - ручей. Когда дедушка сдал ферму, переехал на жительство в Целинное. Выращивал овощи, разводил скот.

Его очень уважали односельчане, авторитет у него был наравне с директором совхоза. Он активно участвовал в общественной жизни села был командиром ДНД, председателем товарищеского суда, депутатом сельского и районного Советов народных депутатов.

Рассказывают, появление его на улице Целинного отрезвляюще действовало на хулиганов: “Комиссар, комиссар идет!” - и врассыпную.

Дедушка имел отменную память, много читал, много знал и много рассказывал. Хорошо владел русским языком. Был он очень разговорчивым. Бывало, сойдется с моим мужем – и разговаривают, разговаривают, конца и края нет их разговорам”.

Шагдыр Седий-оолович Куулар, супруг Татьяны Алексеевны, заслуженный юрист РФ:

“Серен Арапайович рассказывал мне, как он попал в эту группу “контрреволюционеров”. Выходило, пострадал из-за своей разговорчивости. Он все нелицеприятное мог сказать человеку. Это его и сгубило. Якобы его “обрабатывали” на допросах. Изолятор временного содержания находился тогда в подвале деревянного здания на улице Комсомольской, где до недавнего времени располагалось Министерство труда и социального обеспечения республики. В этом подвале содержали арестованных “контрреволюционеров”. Здесь стояла печь-буржуйка, допрашиваемого одевали в овчинную шубу и сажали вплотную к этой печи. От нестерпимой жары человек падал в обморок. Таким изощренным способом, без прямого физического воздействия, подавляли волю арестованного, добывали признательные показания.

Суд над Кужугетом и другими “чурмиттажынцами” проходил в кинотеатре в центре Кызыла (позднее здесь был Дом пионеров – напротив здания центральной почты, сейчас здесь площадь Арата). Назначенная судом высшая мера наказания – расстрел – Кужугету постановлением Президиума Малого Хурала ТНР была заменена восьмью годами лишения свободы.

Кужугет был большим тружеником. Честно, добросовестно работал. Умный, находчивый. Знал, где дом лучше поставить, как скот содержать и прочее.

С Татьяной Алексеевной мы поженились в 1955 году. Часто общались с ее “дедушкой”, он много рассказывал, в том числе и про репрессии.

Я многих выдающихся тувинцев знал, но Кужугет, на мой взгляд, из них был самым выдающимся. Он уважал закон и власть, не озлобился из-за репрессий, не держал камень за пазухой. Комиссар, он и есть комиссар”.

“Враг народа”

Из протокола допроса от 27 июля 1937 года: “Уполномоченный МВД ТНР Тыртый-оол допросил Кужугет Серен Арапай, 36 лет, проживающего в Кок-Тей сумоне, занимался аратством.

Вопрос: Вы арестованы за участие в контрреволюционной организации, признаете себя виновным?

Ответ: Да, признаю.

Вопрос: Как, когда и кто вас вербовал?

Ответ: Чурмит-Тажы, Танчай еще в 1933 году, тогда я был командиром-комиссаром в армии, а Танчай был тогда заместителем Председателя Правительства. В гостинице Минусинска он мне сказал: “Когда тебя за неправильную работу хотели из партии исключить, я тебя защитил. Тока родом из Сарыг-Сепа, сын русского попа. Он намерен никого из состоятельных не оставить, а конфискованный скот раздать русским. Против этого выступил Хемчик-оол, но его с работы выгнали”.

Далее он сказал: “Хемчик-оол с Чурмит-Тажы на моей стороне, мы считаем, что в Туве социализма никогда не будет, что все это выдумал Тока. Чтобы скрыть свои ошибки, он выгоняет старых работников, принимает на работу глупых мальчиков. Чурмит-Тажы, старый волк, все это анализирует. В 1930 году ты, Серен, участвовал в подавлении восстания. Тебя критиковали Артаа, Сунчук-оол, что ты плохо участвовал. Они это делали по указанию Тока, Шагдыр-Суруна. Тебя Тока обозвал анархистом”. После этого разговора я Танчаю поверил, все его слова принял на веру.

В 1934 году Чурмит-Тажы с секретарем монгольского посольства Тажы-Чап зашли ко мне домой. При этом Чурмит-Тажы мне сказал: “Тебя Тока и Ойдуп неправильно освободили, снова пойдешь в армию, я тебя устрою”. Осенью 1935 года, когда я работал начальником коммунхоза, меня вызвал Чурмит-Тажы, у него был Маннай-Байыр и еще кто-то. Сообщил мне, что Тока и Байыр-оол его допрашивали. “Ты, Серен, – сказал он, – если перейдешь на сторону Тока, я тебя застрелю”, – и вытащил из кармана пистолет...

В 1935 году на ярмарке состоялся банкет, где я исполнил горловое пение. Присутствовавший при этом Тока сказал: “Из тебя хороший артист получится”.

Таким образом Чурмит-Тажы и Танчай вовлекли меня на свою сторону.

Вопрос: Еще кого знаете из участников организации?

Ответ: Организаторы Чурмит-Тажы, Танчай, участники

Артаа, Киров, Увангур, Пиринлей, Маннай-Байыр, Ламажык, Хемчик-оол, Сандык, Тастай-оол, Сунгар-оол, Сундуй, Лопсан-Серен.

Вопрос: Какие задачи ставила ваша контрреволюционная организация?

Ответ: Наша организация ставит перед собой следующие задачи: ликвидировать революционный строй, порвать отношения с СССР, объединиться с Монголией и подчиниться Японии.

Вопрос: Каким способом вы намеревались ликвидировать партию и правительство?

Ответ: С помощью вооруженных сил. Я стремился перейти в армию, создавал там группу сторонников, чтобы начать вооруженное восстание.

Вопрос: После победы какой строй собирались установить?

Ответ: Определенно не знаю. По словам Чурмит-Тажы и Танчая, объединятся Япония, Китай, Тибет и Монголия и создадут какое-то государство.

Вопрос: Ламы, шаманы, феодалы — с ними как поступили бы?

Ответ: Вовлечь на свою сторону, использовать против существующего строя.

Вопрос: Если араты начнут сопротивляться, тогда как?

Ответ: Их подавили бы с помощью армии. Партию и ревсомол ликвидировали.

Вопрос: Как поступить с другими националами?

Ответ: Русских выгнать, китайцы, корейцы, монголы останутся.

Не вызывает никакого сомнения, что протокол допроса был сфабрикован следователями, а подследственного недозволенными методами принудили подписать его. Точно такой же процедуре были подвергнуты и другие участники так называемой контрреволюционной организации в Туве.

Кужугет Серен 19 ноября 1962 года в своем заявлении и на очной ставке со следователем Моломдаем указывает, что в 1938 году во время следствия к нему в течение 17 дней применялись меры физического воздействия, которые доходили до такой степени, что он вынужден был, стоя в

кабинете следователя, прямо в брюки отправлять естественные надобности, так как в туалет его не выводили.

Кужугет Серен также показал, что, будучи на допросе у министра внутренних дел Полата, он жаловался ему на незаконные действия следователей, применявших на допросах меры физического воздействия, и заявлял о своей невинности, однако Полат на просьбу Серена не реагировал, а наоборот, потребовал от последнего давать следствию признательные показания. “Ты – один из участников контрреволюционной организации, и если ты не дашь признательных показаний о своем деле и будешь отпираться, то все равно на основании имеющихся материалов тебя осудим. Если дашь признательные показания, то тебя помилуем, а не признаешься – расстреляем”.

Бывший сотрудник МВД ТНР Д.Ш.Моломдай на допросе 4 декабря 1962 года сообщил, что во время допроса подследственного Кужугета Серена в 1938 году, по указанию бывшего министра внутренних дел ТНР Полата и его заместителя Намчака, он, действительно, применял недозволенные методы ведения следствия и, в частности, заставлял арестованного стоять на ногах и смотреть в одну точку длительное время и без малейшего движения, а когда Кужугет Серен не хотел стоять и садился, то Моломдай силой ставил его на ноги, кричал, пинал и угрожал применением к нему более жесткой меры физического воздействия.

Каждый лист уголовного дела № 40, по которому проходили “чурмиттажынцы”, пронизан надуманными обвинениями, которые фактически ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе скорого судебного разбирательства так и не были доказаны. В свидетельских показаниях фигурировали лишь такие беспомощные обвинительные аргументы: “Он (имярек) сказал то-то и то-то”. Но нигде не упоминалось о конкретных действиях, которые могли бы указывать на преступный сговор “японских шпионов”, а тем более на их преступные деяния.

Тем не менее, тогдашнее руководство ТНР постаралось этому судебному процессу (по сути – судилищу) придать

большое общественно-политическое значение. Он явился прологом к массовым репрессиям в Туве, жертвами которых стали 1286 человек, а также их супруги, дети, родители. Уж очень хотелось власть предрержащим и их советским советникам устроить громкий судебный процесс в ТНР – по российскому образу и подобию. Знай, мол, наших: и мы выявили врагов народа, агентов-шпионов, целью которых было подорвать Туву изнутри и вывести ее из-под влияния СССР. Так называемой революционной бдительностью, однако, прикрывалась лишь борьба за власть, за единоличное правление Тувой.

Впрочем, это уже дело историков – воздать каждому политику по его заслугам. Мы же лишь пытаемся вернуть доброе имя тем, кто стал невинной жертвой массовых репрессий в Туве. Бывшие “враги народа” на деле были его защитниками, бывшие защитники из карающих органов – по сути, истинными врагами народа.

Герои и лжегерои

Из дневника С.А.Кужугета: “В ноябре 1932 года я был призван в армию, где учился военному делу. Тогда же для меня наступили самые счастливые дни: отправили меня учиться в Тверь. В марте 1930 года феодалы долины реки Хемчик подняли мятеж, правительство ТНР поручило мне подавить его. За успешную операцию меня наградили орденом Красного Знамени и назначили начальником Военного Совета ТНР.

В 1933 году я заболел и в апреле 1934 года был освобожден от командования армией. При этом правительство наградило меня скорострельным пистолетом “Маузером” и резвым скакуном со всем снаряжением.

В 1934 году после шестимесячного лечения мне предложили возглавить охотничье хозяйство, но я отказался. Контрреволюционные элементы не забыли мою деятельность в армии и стали распространять ложные сведения, будто я на стороне Японии и против национальной революции стремился с помощью армии сражаться.

Вот с этого времени и начались гонения на меня. В 1935 году работал начальником коммунального хозяйства в

Кызыле, а с 1936 года – председателем городской администрации. Однако 10 июля 1938 года на основании ложного доноса я был арестован. Допрашивали меня Болат, Рогов, Намчак, Ечкалов и другие. Я не выдерживал издевательств, терял сознание. Они воспользовались этим, дали подписать протокол допроса с ложными сведениями. Расстрел мне заменили восемью годами лишения свободы. Я выдержал эти нелегкие испытания. За добросовестную работу и примерное поведение меня освободили досрочно на два года. Под моим руководством в годы войны было изготовлено 65 тысяч пар лыж.

После освобождения в 1944 году я стал работать столяром-плотником в кинотеатре, с 1945 года стал ухаживать за общественным скотом. Только в совхозе “Чедер” пастухом 12 лет проработал. Две тысячи телят вырастил, сохранил их. Как ни старались сломать меня, я так и остался верным своей родине, военной присяге, которую дал в 1929 году. С 1938 по 1964 годы я носил позорное клеймо “контра”, но Верховный Суд РСФСР 3 сентября 1964 года полностью оправдал меня.

28 декабря 1968 года на бюро обкома КПСС рассматривался вопрос о восстановлении меня в рядах партии. Вопрос оставили открытым, партбилет так и не вернули...”

На этом воспоминания С.А.Кужугета обрываются.

Следует ли удивляться тому факту, что бывшие партократы так и не нашли в себе мужества сказать “прости” этому стойкому человеку, жестоко пострадавшему от политических репрессий в Туве и полностью реабилитированному в годы “хрущевской оттепели”. Такие были времена, такие были герои. Лжегерои. И настоящие герои. Серен Арапаевич Кужугет — из настоящих.



Виталий ЗЕЛЕНСКИЙ,
*главный редактор
журнала “Сибирские огни”*

ИСТОРИЯ ОБЯЗЫВАЕТ

Старейший ныне в России литературно-художественный и общественно-политический “толстый” журнал родом из Сибири. Он появился на свет в приметный день весеннего обновления природы – 22 марта 1922 года, вдалеке от культурных центров страны, в малоизвестном еще Ново-Николаевске, где и народу-то считалось раз в 20 меньше, чем в современном Новосибирске. Имя первенцу выбирали не по святцам, но со значением. Получилось удачно – “Сибирские огни”.

О появлении на литературной карте Советской России нового, уникального по дерзости замысла и целям периодического издания писали все тогдашние газеты, хотя у молодой республики, право же, хватало других забот и нужд в этот последний год тяжелой гражданской войны. Журнал приветствовал первый нарком просвещения А.В. Луначарский, неизменно поддерживал Максим Горький, уверенный в том, что “отличная культурная работа “огней” разожжет духовную жизнь грандиозной Сибири”.

В работе первой редакции журнала, куда входили Феоктист Березовский, Лидия Сейфуллина, Валериан Правдухин, Михаил Басов, было много энтузиазма, романтики, веры в высокое предназначение литературного дела именно здесь, в Сибири. Наверное, поэтому А.М. Горький назвал всех друзей журнала, его читателей и почитателей крылатым словом – “огнелюбы”.

Так было положено начало тому, что теперь мы называем литературным процессом в Сибири.

Много сделал для собирания литературных сил огромного края ярко-талантливый писатель и незаурядный организатор Владимир Зазубрин. Он пришел в “Сибирские огни” в 1923-м из ПУ 5-й Красной Армии, только что освободившей Сибирь от остатков разбитого, деморализованного колчаковского воинства. Зазубрин редактировал в ПУ АРМ-5 газету “Красный стрелок” и еще в 1921-м издал в походной типографии свой знаменитый роман (первый в советской литературе!) “Два мира”. Его авторитет был непререкаем.

Между тем характерная для той эпохи борьба различных течений, литературных групп не обошла стороной и Сибирь. Владимир Зазубрин призывал писателей “всесторонне изучать жизненный материал, совершенствовать свое мастерство, без которого лучшие намерения художника теряют всякий смысл”. Подтверждалась преимуществом новой литературы по отношению к русской классической, победу одержали принципы реализма в двуединстве формы и содержания.

Для подавляющего большинства сегодняшних читателей та литература остается неизвестной. Вот почему весь 2001 год, встав, так сказать, на предъюбилейную вахту, мы из номера в номер вели ретроспективный обзор сделанного писателями-сибиряками старших поколений. Под рубрикой “Из литературного наследия “Сибирских огней” перед читателями словно прошла плеяда живых творцов русской сибирской литературы – от Лидии Сейфуллиной двадцатых годов до Николая Самохина восьмидесятых.

И это лишь малая часть богатства, накопленного “Сибирскими огнями” за восемь десятилетий упорного собирательства. Были у нас в разные годы Анна Караваева и Вячеслав Шишков, Ефим Пермитин и Афанасий Коптелов, Константин Седых и Николай Анов, Сергей Марков и Михаил Алексеев, Сергей Сартаков и Николай Задорнов, Анатолий Иванов и Петр Проскурин, Василий Шукшин и Валентин Распутин

В разделе поэзии увидим блистательные имена Николая Асеева, Павла Васильева, Леонида Мартынова, Иосифа Уткина, Василия Федорова...



МАТЕРИ МАГАЛУУ.

Развивались все жанры, в том числе очерк и публицистика, литературная критика и литературоведение.

“В наших условиях, в условиях строительства, необходимо ко всему критическое отношение, – говорилось в одной из давних журнальных передовиц, – и в отношении литературы мы должны культивировать и всячески помогать развиваться не элементам расслабленного снобизма, а творческим силам”...

С таким высоким пониманием своей миссии в дикой еще по европейским понятиям стране писателям-сибирякам недосуг было играть в литературные игры ради вящего удовольствия пресыщенной публики. К своему полувековому юбилею, в 1972 году, журнал был удостоен государственной награды – ордена “Знак Почета”. Не только за заслуги “в области литературы”, но и, как особо отмечено в Указе Президиума Верховного Совета СССР, – “За активное творческое участие в развитии экономики и культуры Сибири”. У нас не было и нет причин отказываться от такой чести.

Наше время трудно признать благоприятным для подлинного расцвета литературы и искусства. Слишком много вокруг лжи, политиканства, нескончаемы сомнительные перестройки, борьба за власть и слишком мало настоящих, а не пропагандистских успехов в реальной жизни государства и народа. Окопавшиеся в буржуазных СМИ новые либералы снимают с себя заботы о духовном здоровье общества. Идет тотальная “зачистка” памяти народной от всего славного, что было в нашей недавней истории, возрождаются дурные нравы кастового общества.

Одномоментная уборка этих авгиевых конюшен не по силам, наверное, самому Гераклу, но что-то же надо делать и нам, имеющим хоть малую возможность помочь людям разобраться в происходящем. Взяли за правило, чтобы ни один номер не выходил без публицистики, без полемики на острые темы современности, морально-нравственного состояния общества. Здесь выступают писатели, политологи, философы, печатаются интересные письма читателей.

Основное же место в журнале, как и прежде, занимает художественная проза.

Старейший журнал пережил трудные времена, жизнь едва теплилась в нем, а возрождение началось с 1998 года, когда на помощь пришли “огнелюбы” из числа руководителей Новосибирской области. Журнал окреп, вернул к себе давних авторов, приобрел немало новых и с января 2003 года вновь стал ежемесячным.

Наши возможности возросли настолько, что мы можем позволить себе публикацию больших художественных полотен. Разумеется, если они того заслуживают...

В 2000 году в “Сибирских огнях” впервые выступил с большим и своеобразным романом “Мурлов или Преодоление отсутствия” открытый “Сибирскими огнями” талантливый литератор из Новосибирска Виорэль Ломов. В 2001 году опубликован его новый роман – “Сердце бройлера”. В следующем году – роман “Солнце слепых”. Ныне Виорэль Ломов член Союза писателей России, член редколлегии, ответственный секретарь нашего журнала.

И только в 2003 году журнал поместил на своих страницах пять романов! С учетом того, что некоторые из них печатались с продолжением, у нас в 2003 году ни один номер не вышел без романа. И в последнем, 12 номере опубликован новый роман известного сибирского писателя Бориса Климычева. Добавим сюда ряд повестей и рассказов – получим изрядную библиотечку новинок.

Отмечу как несомненную удачу роман Александра Казанцева “Русский жрец”. Роман современный, роман о самом главном – о поисках смысла жизни в сложнейшее наше время. По-другому интересен исторический роман тоболяка Вячеслава Софронова “Отрешенные люди”. Из него мы узнаем много нового о Сибири XVII века, роман изобилует удивительными приключениями, связанными с именем первого сибирского губернатора М. Гагарина. А роман писателя из Барнаула Станислава Вторушина “Дым над тайгой” относит читателя к недавнему прошлому, к эпопее освоения нефтяных богатств Приобья. И здесь свои коллизии, свои поиски и приключения...

Современной реалистической в своей основе прозе присущи элементы фантастики, даже мистики, антиутопии, иносказания, другие художественные приемы, делающие

произведение интереснее, или, как говорят, “читабельней”.

Поэтический раздел “Сибирских огней” складывается из стихов и поэм Владимира Берязева, Анатолия Соколова, Владимира Макарова, Михаила Вишнякова, Николая Шамсутдинова, Станислава Михайлова, Николая Игнатенко, творческих дебютов молодых сибиряков. География поэзии журнала подстать сибирским просторам – от Тюмени до Забайкалья.

Сибирь – страна многонациональная, потому стараемся, чтобы на страницах журнала присутствовал “всяк суций в ней язык”. С давних пор живет у нас рубрика “Поэзия народов Сибири”. А если заглянуть за даль годов, то увидим там романы бурят, хакасов, алтайцев, тувинцев, впервые увидевших свет благодаря “Сибирским огням”. Сейчас, правда, туго стало с переводчиками прозы: одних уж нет, а те – далече...

Наш журнал год за годом создает художественную летопись сибирской жизни, данной в образах людей, в пережитых ими событиях этих десятилетий. То, что талантливо (следовательно, правдиво) запечатлено художником, нельзя переписать наново, как это делают ныне с учебниками истории.

Как-то Народный артист СССР Игорь Горбачев высказал мысль, относящуюся, я думаю, не только к театру. “Традиции, – заметил он, – это не охрана пепла, а поддержание огня”!

Мы называем себя традиционалистами, кто-то нас причисляет к консерваторам, и на это не обижаемся. Просто у нас свои корни, от них и растем. Это не отменяет, а предполагает поиск новых выразительных средств, новых художественных приемов, обогащающих нашу русскую литературу.



Н. Березовский

Ожидание

(Рассказ)

Когда мне худо и одиноко, я подхожу к окну. Почему-то чаще всего это случается в праздники. Окно — не замочная скважина, из него видно широко и далеко, но ощущение, что ты подглядываешь, тревожит. Потому что я обзираю не пространство, уходящее к горизонту, а то, что близко, сразу за окном — под ним и чуть дальше, за дорогой, к которой, кажется мне, дома противоположной стороны улицы придвинуты ближе, чем с моей, хотя, конечно, это обман зрения. Дорога пролегает точно посередине улицы, я проверял, и что моя ее часть, что противоположная, — почти близняшки. Все, как у Блока: “Ночь, улица, фонарь, аптека”, а “почти” — поскольку вместо аптеки остановка общественного транспорта. Я смотрю поперек улицы, а вдоль не смотрю, потому что смотреть вдоль, как шаг влево, шаг вправо — считается побегом. Бежать мне не хочется или я боюсь бежать, а смотреть, пусть и тревожно, прямо перед собой не боюсь, а если сделается вдруг страшно, то можно просто отступить от окна вглубь комнаты, совмещающей спальню с залом. Из кухни, где второе окно квартиры, так вольно не отступишь — мала кухня, и жена, постоянно в ней хлопочущая, мешает, да и не видно в кухонное окно ничего из-за забранного решеткой балкона, а выходить на балкон зимой — не климат. И летом не тянет — из-за решетки. Не тюрьма же, в самом деле, мой дом...

На остановке мается парнишка. В нетерпении, как бы поджидая автобус. Но автобусы подъезжают и уезжают, а он остается. Сначала подумалось, по причине их заполненности под завязку. В общественный транспорт и в

будни не пробьешься, а в новогодний вечер и подавно. Однако, если сильно постараться, втолкнуть себя можно, разогреешься заодно, а парнишка мается на остановке с шести вечера и, должно быть, здорово заколел. Пальто на нем, видно даже издалека, старенькое, рукава короткие, руки не в варежках или перчатках, и ботинки на ногах совсем не зимние. Но ветра, к счастью, нет, иначе бы он в тридцатиградусный мороз давно бы уже превратился в сосульку.

На улице сделалось совсем темно, отчего ярче, кажется, разгорелись фонари, и мне хорошо видно из окна второго этажа парнишку, пропускающего и пропускающего автобусы. Теперь бы и полный идиот осознал, что он и не стремится куда-то уехать. Салоны автобусов уже полупусты, и, освещенные в темноте изнутри, как бы вдавливают силуэты редко сидящих людей в полузамерзшие стекла. В любой из автобусов можно не только совершенно свободно войти, но и плюхнуться, не вынимая рук из карманов пальто или шубы, на облюбованное место. А парнишка не входит и не плюхается. Он явно кого-то ждет, окончательно понимаю я. Или встречает, что, впрочем, одно и то же. Это очевидно еще и по тому, как он всматривается, выбегая из “кармана” остановки на проезжую часть дороги, туда, откуда должен подъехать очередной автобус.

А автобусы подкапывают все реже и реже. Жена начинает уже накрывать новогодний стол, и до Нового года, показывают часы над столом, остается ровно час. По местному, конечно, времени, а на Камчатке, скажем, его уже встретили, а в Москве встретят через три часа после того, как встретим мы — я и жена. Жена хлопочет, накрывая стол, ей не до водителей общественного транспорта, а они — тоже люди. Многие, наверное, уже поставили в теплые гаражи свои машины, досрочно, сославшись на поломку, отметившись в диспетчерской. Другие съехали с маршрута самовольно, чтобы по-человечески встретить новогодье в семье. Да и самые дисциплинированные, каких всегда меньшинство, едва ли дотянут на трассе до полуночи. Я это



знаю не по себе, а по другу – водителю из геологоразведки, в которой тоже когда-то работал, прежде чем стал писать книги. Поэтому промежутки между подъезжающими к остановке автобусами все дольше и дольше. А парнишка все ждет и ждет.

Я не выдерживаю. Напяливаю шапку, влажу в дубленку и выбегаю на улицу. Нет, мне только казалось, когда глядел из окна, что нынче безветренно. Не ветер, конечно, но поддувает. Подленько так, вроде неощутимо, но остро, как иголками покалывая. Из тепла только, а приходится, едва свернув за угол дома к дороге, застегнуть дубленку. И отдышаться, приостановившись, – перехватило вдруг дыхание, как парнишку на другой стороне улицы увидел не через стекло, а живую. А он, замерзший, даже и не заметил меня, когда я, наконец, оказался с ним рядом. А может, ему просто плевать на какого-то дядьку, перебежавшего дорогу, не до окружающих ему, когда его взгляд устремлен туда, откуда подкатит – или уже не подкатит? – автобус. Ему лет шестнадцать, парнишке, пацан еще, определяю я по его лицу. И трогаю его за плечо, ледяное даже через вытертый драп пальто:

– Слушай, айда ко мне греться.

Он не видит меня, как слепой, и не чувствует прикосновения, как парализованный. Я для него, похоже, не существую. А может, он еще и глухой? – пугаюсь я и кричу уже на всю улицу:

– Слушай, у меня там окно, прямо на остановку выходит, и ты, если кого ожидаешь, увидишь, как он только выйдет из автобуса. Выскочишь, а я в форточку покричу, чтоб обождали, – планирую я с ходу ситуацию, непонятно почему озаботившись этим чужим для меня подростком. – Слышишь, парень?

Он слышит, улавливаю я по его глазам, но услышать меня не желает, и я трясу его за плечо так, что из карманов пальто вылетают его руки, сжатые в кулаки. Не для драки, а потому что замерзли. И разжать кулаки он уже не в силах. Как и замерзшие губы. Потому и отказывается от моего предложения движением головы. Шапчонка из крашеного кролика пристыла, наверное, к его волосам.

– Не бойся, я не какой-нибудь там... – уговариваю его уже обреченно.

– Нет, – удастся ему, наконец, разжать губы. – Нет, – говорит он решительно очень знакомым мне голосом. И я пугаюсь:

– Может, случилось что? – хотя какое мне дело до этого сопляка, до его проблем? У меня собственных по горло и выше макушки. Но я опять кричу: – Слышишь?!

И в ответ на свои заботы о нем я читаю в его еще теплых глазах, непонятно, но тоже, как и голос, очень знакомых: “Отстань, мужик...”

Это даже не ответ, а приговор. И ничего не остается, как отстать.

Жена и не заметила, что я уходил.

– Пора! – торжественно зовет она из комнаты с елкой и по-праздничному накрытым столом. – Через пять минут – Новый год! – возглашает она. А я обхожу, хотя в этом нет надобности, стол, чтобы глянуть в окно. Парнишка все там же, под фонарем, свет которого почему-то стал синим, как у лампы, какой жена греет простуженное горло. Или это с мороза застило глаза?..

Часы бьют полночь. Звенят, сойдясь, мой и жены бокалы. Мы ничего не желаем друг другу – у нас есть все. Кроме того или тех, кого никогда уже не будет. Мы опоздали, стремясь пожить для себя. Мы стары, как родители, даже для мальчишки, который мается в неизвестном ожидании на остановке.

“Но почему в неизвестном?!” – ухает, как в яму, мое сердце. У этой ямы есть название, но там, далеко, она возвышенность. И я падаю в яму, одновременно на эту возвышенность поднимаясь. Это легко и тяжело, как после наркоза, как в мороз на остановке, когда на тебе драные пальто и шапка, но зато изнутри тепло от ожидания. И ничего, что ботинки летние, на микропоре, каких теперь и не делают, – мороз кусает лишь подошвы, а верх ботинок для него непроницаем, потому что каждая трещинка жирно пропитана черным кремом перед тем, как помчаться на

остановку встречать девочку, обещавшую приехать на Новый год. Она так и не приехала, но с каждым прошедшим автобусом оказывалась все ближе ко мне...

– Ты что? – возвращает в настоящее голос жены.

Шампанское, так и не пригубленное, льется из бокала, почти выскользнувшего из поникшей руки. На скатерти, где скатерть не заставлена тарелками, ширится темное влажное пятно.

– Вот, – огорчается жена, – стирать придется.

Я, оживляя руку, сжимаю хрупкую ножку бокала, и ножка ломается с хрустом, как сухая ветка, когда-то бывшая упругой ветвью, и яркая кровь из ладони закрашивает на скатерти темную влагу. Но боли я не ощущаю. И не боль отбрасывает меня от стола к окну, а страх потерять самого себя, ожидающего на остановке то, что не купить ни за какие деньги и блага.

Парнишки на остановке нет.

Нет меня!

Но я ведь тогда не ушел с остановки до первого утреннего автобуса! Я простоял в ожидании всю тогдашнюю новогоднюю ночь, и мужик, зазывающий меня погреться в дом рядом, совсем не был похож на меня сегодняшнего.

– Обморозишься, – сказал он на прощание.

Накаркал, похоже. От того ожидания у меня осталась метка – подрезанные на ногах пальцы. Наверное, изнывал я в больнице, лишенный возможности передвигаться, она приехала после: к обеду того первого дня нового года, в один из тех новогодних дней, в одну из тех недель января, отнятых у меня лечением. Но если этот парнишка я, а я не уходил, как ушел он, – значит, он дождался. Сбылось, выходит, предчувствие, что с каждым прошедшим автобусом она все ближе. А потому...

– Надо перевязать, – подходит к окну и жена.

Бинт, йод, вата. Как тогда, в больнице. Жена всегда очень заботлива. И не боится, как боялась та девочка, крови. Тогда у меня кровь текла из разбитого носа. Из-за девочки на катке, которую хотели закатать незнакомые пацаны. А

потом она обещала встретить Новый год со мной. “Потому что я тебя не боюсь, как боялась их”, — сказала она о пацанах. Пацаны эти били меня и после катка, но мне не было больно, потому что девочка уже уехала, а ее платок, оставленный мне, избавлял не только от крови, но и от боли. “Оставь себе, — сказала она о платке, когда я посадил ее в автобус. — Я боюсь крови...”

Жена крови не боится. Со свадьбы она боится лишь одного — смотреть в мои глаза. И я боюсь — смотреть в ее. И протягиваю ей для перевязки руку, не поднимая глаз. Чтобы она ненароком не заметила в них ожившего ожидания.

Алла КУЗНЕЦОВА

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Рассказ

Дочерям Марии и Арине

I

Летом Санька Веселова ездила с матерью в районный поселок покупать лекарство для бабушки. Лекарство не купили, но в аптеке им сказали, что такое же лекарство можно приготовить самим из трав, а как готовить, об этом написано в специальной книжке.

— Где же взять такую книжку? — спросила мать.

— В районной библиотеке, — ответили ей.

В библиотеке, куда они пришли, книгу им дали, но с условием, что они посидят здесь и полистают ее тут же, потому что книга редкая и находится на особом учете.

Пока мать сидела за широким столом и осторожно переворачивала темные, словно задымленные, листы, Санька с восторгом и страхом глядела на высокие шкафы, заставленные книгами до самого потолка. Книги так же стояли на полках, между полками можно было ходить и брать любую книгу, какую захочешь.

— А ты, девочка, чтобы не скучать, посмотри пока это, — сказала ей молодая библиотекарьша в очках и подала плоскую, как доска, книжку, на обложке которой были

нарисованы тощий мальчишка с длинным носом и кудрявая, как кукла, девчонка.

“Золотой ключик”, – прочитала Санька и обиженно подумала: “Что я, маленькая? Я уже читала это”. Однако книжку взяла и ответила:

– Спасибо.

Полистав ее, она вздохнула, и снова глядя на высокие шкафы и полки с узкими темными проходами меж ними, несмело спросила:

– Здесь можно походить?

Библиотекарша улыбнулась и кивнула головой:

– Можно.

Санька встала, и еще больше робея от какого-то особенного торжественного безмолвия и мглы, прошла в дальний конец библиотеки. Там, за высоким стрельчатым окном, шумел тополь. От густой листвы и солнечных лучей, то и дело играющих сквозь нее, среди книг сказочно мерцал зеленый сумрак, с золотыми, бегающими вокруг огоньками. Санька неожиданно увидела женщину в белом и вздрогнула. Женщина сидела на лешенке, листая книгу, тоже заметила Саньку и ласково спросила:

– Что ты тут делаешь?

– Хожу, – сказала Санька.

Женщина подумала и спросила снова:

– Как тебя зовут?

– Александра.

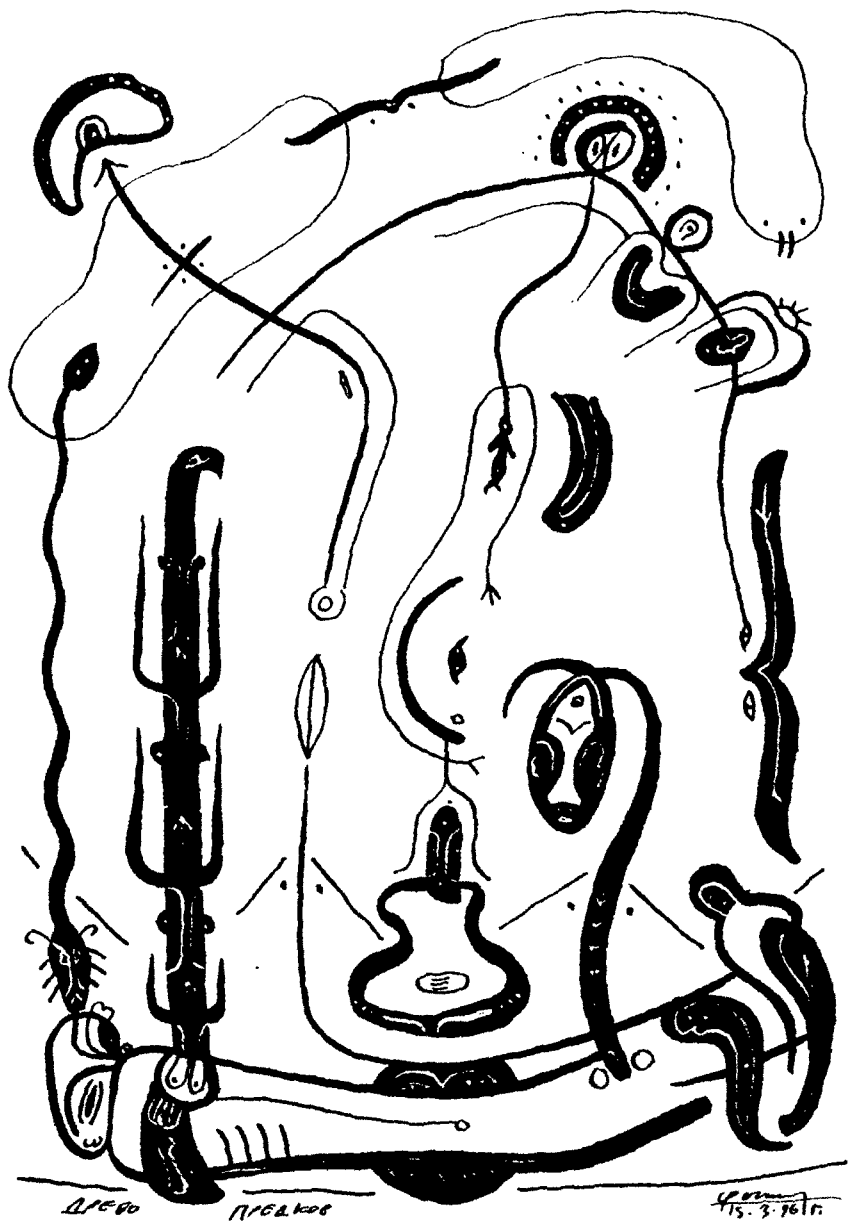
– Ты учишься?

– Нет. Сейчас летние каникулы.

Женщина промолчала и опять начала листать свою книгу.

“Вот бы у меня была такая библиотека! – подумала Санька, забыв о ней. – Я бы давала читать книжки Нинке Куксе и Надьке Мурзаевой!..”

Мать списала рецепт приготовления лекарства из трав и позвала ее. Домой они ехали через поля, в которых высоко колосилась рожь, и где-то далеко-далеко стояло кудрявое синее дерево. Потом дорога пошла через темный лес, а дальше началось цветущее картофельное поле. В его лиловой



мгле глухо гремел гром, и что-то горело и шло сюда, зловеще дымясь сизым мраком... Санька увидела, что сбоку на них надвигается грозная туча, и спряталась под дождевик. Под дождевиком было темно и душно, пахло донником, который накосила для лошади мать. Близкая молния сверкнула так ярко, что ее свет, брызнувший сквозь плетеный бок тарантаса, вдруг облил Саньку все лицо, и она, уткнувшись головой в донник, совсем задохнулась от его медовой жары... Лошадь шарахнулась в сторону, и под самым ухом зашелестели картофельные кусты.

— Мама, что там? — испуганно спросила она, выглянув из-под брезента.

— Грач полетел, — ответила мать, осаживая лошадь. — Да так близко, что испугал меня. Поди, слепой!..

— Кто слепой? Грач?

— Ну да.

— А где он?

— Улетел в поле... Прячься, сейчас дождь пойдет!

Санька спрятала голову и вдруг представила, что вся их изба заставлена книжными полками. За окошком шумит и колышется тополь, а малиновый сумрак в избе озаряется молнией... Горит свечка, и Санька сидит на лесенке или на низеньком стульчике, почти на таком же, на каком мать доит корову, берет книжки одну за другой, листает страницы, иногда читает, забыв о грозе и бушующем тополе...

“Я обязательно себе куплю такую библиотеку! Вот вырасту и куплю!” — думает она, прислушиваясь к шуму, сначала отдаленному, потом близкому, торопливому и жадному. Вот уже загудело рядом, обрушилось сверху холодом, запахло мокрой землей, травой, и в тарантас потекла студеной вода.

II

Все лето Санька только и думала, где бы сделать библиотеку. В избе, в которой она жила с бабушкой, дедушкой, матерью и крестной Ольгой, было тесно. За тонкой перегородкой, оклеенной первомайскими плакатами,

стояла деревянная кровать, где они спали с матерью. Тут же находился и уголок Саньки с ее учебниками и тряпичной куклой Феклушкой. Вместе с ними за перегородкой на раскладушке спала Ольга. Раскладушка не убиралась, стояла у подоконника, а на подоконнике рядом с горшком бальзамина всегда валялись заколки для волос, гребень, баночка вазелина, крупные костяные пуговицы и флаконы с духами “Серебряное копытце”. Бабушкина кровать тоже стояла в углу, но по ту сторону перегородки. Там же стояли стол и фикус. Дед спал на полотах. Если бы у Саньки появилось всего пять-шесть книжек, то и их было бы некуда девать. Можно сложить под койку... Но там много пыли и паутины. Нет места для книг! Но и самих книг тоже нет. В их деревенском магазине, где торгует сердитая тетя Лида, рядом с нитками “мулинэ” и чугунными печными вьюшками, на витрине стоят две тоненькие, закапанные мухами книжки, “Гамлет” и “Генрих Гейне”. Есть еще толстая книга в коленкоровой обложке свекольного цвета с надписью “Дм. Петровский”. Много раз просила Санька тетю Лиду подать ей эту книгу и всякий раз, подержав ее в руках, возвращала обратно.

— Тут такие стишки написаны, что умом тряхнешься, — сердито говорила тетя Лида. — Тут сколь мозгу иметь надо, чтоб такую книжку прочитать!.. Некого ее и глядеть! Бери вон лучше “Гамлета”, эта как раз для тебя писана — за вечер прочитаешь!

Санька молчала. Ей хотелось иметь только толстые книги, в которых было бы написано про все на свете, и чтоб, прочитав их, хотелось бы дописать что-нибудь самой, про то, какие сны ей снятся, хотя Санька знает, что это не сны, а какая-то другая ее жизнь, за другой перегородкой... Прошлой весной, когда бабушка была еще здорова, Санька помогала ей сажать редьку. Осенью они собирали урожай, и, берясь за тучную, щекочущую неприметными холодными ворсинками ботву, Санька едва вытягивала из земли тяжелый, растресканный корнеплод и удивленно разглядывала его, гадая, как из крохотного, как блошка, семени вышла и эта неохватная ботва, и сама, величиной с чугунок, редька? Потом смотрела на подсолнухи, на облака,

на луну, выползающую из-за леса по вечерам и метившую дрожащим светом окошки в избе, и думала, что все это, так же, как редька и подсолнухи, разрослось из одного маленького семечка. И кто-то же посеял это семечко!.. Посеял затем, что ему радостно глядеть, как все это выросло, и, может быть, растет до сих пор, всяк по-своему, как растут в полях и огородах разные растения...

“В толстых книжках обо всем написано”, — думала Санька и вспоминала женщину в белом, которая сидела в районной библиотеке на лесенке... “Наверное, читала о том, кто сеял семя... А куда сеял-то? В небо? Да разве в небе вырастет? А, может, и вырастет. Только в небе все растет не так, как на земле”.

III

На ферме, где работала мать дояркой, строили новый коровник. Плотники пилили бревна, строгали доски. На закате бревна золотились так ясно, что крапива рядом со срубом казалась запорошенной желтой пылью. Санька бегала к матери на ферму и всегда заглядывала в новый коровник, видела, как от вечернего солнца дрожит и золотится крапива, слышала, как слабый сквозняк шевелит сосновые стружки и что-то тихо звенит и гудит в высоких стропилах, а по углам чудятся вздохи, шепот и шелесты...

“Это лес шумит, — догадывалась она, прислушиваясь к шорохам. — Хоть его спилили и привезли, он все равно помнит, как жил и о чем шумел”. Иногда, задумавшись, Санька угадывала: вот шумит трава, почти так же, как картофельное поле в грозу, когда они с матерью ехали из райцентра. А вот кто-то окликнул Саньку... Нет, это слышится дальше-дальше кукованье. А вот лопнул стручок мышиного горошка, и брызнули, потекли семечки, и загудел, запросился откуда-то сюда шмель... Наконец, звуки, шелесты и звоны сливались в единый хор, сначала пели где-то далеко-далеко, будто за согрой или в некошеном желтом поле, потом хор приближался, звучал все торжественнее, Санька слышала уже отдельные голоса, догадываясь, что это поют в ней самой, поют и славят кого-то за то, что и она живет в этом мире, радуясь ему и радуя его собою...

Как-то придя в коровник, она увидела целый ворох квадратных плашек, наверно, плотники настилали полы, отпиливали концы толстых сосновых досок и бросали их в кучу за негодностью. Санька взяла одну из них, понюхала – плашка свежо пахла новогодней елкой и букварем, когда она впервые открыла его...

– Как книга! – погладила Санька плашку рукой, потом взяла другую, такой же величины, но с другим, мутным, будто смытым водою рисунком. На первой плашке проглядывались стволы деревьев, на второй потаенно замерла рябь, словно вода, смывая сердцевину сосны, не стекла с нее вся, а осталась на рисунке.

Санька выбрала несколько плашек и принесла домой. За баней она приделала на двух кирпичях полочку и поставила их туда.

– Это будет моя библиотека! – обрадованно сказала она.

Потом позвала сходить за плашками Нинку Куксу и Надьку Мурзаеву. За вечер они перетаскали к бане весь ворох, наделали полочек, заставили их плашками и Санька начала выдавать “книги”. О чем-то роптал и терял редкие красные листья старый черемуховый куст, у прясла серебрился чернобыльник, и ласточки, собираясь к отлету, неустанно щебетали и вились над землей.

– Александра Васильевна, мне надо что-нибудь почитать! – обращалась к Саньке Нинка Кукса и серьезно, как и положено в библиотеке, проходила к полкам и выбирала себе “книгу”.

– Возьмите вот эту, про звезды, – так же серьезно предлагала Санька. – А вот эта про луну. Вы видели на луне дерево?

– Разве там есть дерево? – спрашивала Нинка.

– Дерево. Только сухое, потому что на луне нет воды. Если его полить, оно зазеленеет... Вот тут как раз об этом написано.

– А про звезды что написано? – допытывалась Нинка.

– А про звезды... Если из звезд сложить какую-нибудь фигуру, то в ней можно увидеть путь неба.

– Ой, дайте скорее, Александра Васильевна, мне книжку про путь неба! – просила Нинка.

– Приходите еще, Нина Петровна! – приглашала Санька и поправляла на носу очки из ивовых прутьиков.

Менее смышленная Надька Мурзаева, возвращая “книги”, жаловалась:

– Я в них ничего не поняла!

– Как это не поняла? – сердито спрашивала Санька и сурово, как их учительница Светлана Даниловна, поясняла:

– Вот здесь написано про силу солнца. Эта сила живет в каждом из нас. А вот – о подводных людях. У них под водой свои города и деревни...

– Где это ты все узнала? – удивлялась Надька.

– Вот здесь, в книгах! – гордо отвечала Санька, постукивая карандашом по какой-нибудь плашке.

– А кем ты работать будешь? – спрашивала Надька.

– Я буду читать книги...

– Читать книги? А работать кем?

Санька всегда обижалась и сердилась, что Надька из-за своей бестолковости никак не может понять главную работу человека – чтение книг.

IV

Все чаще стал валиться бордовый черемуховый лист. Пристыл в молчании сквозистый чернобыльник, давно улетели ласточки. Санькина бабушка в стеганой безрукавке и валенках выходила в огород и садилась на скамеечку. Зная, что это ее последняя осень, и прощаясь с миром, глядела, как плыла в голубом небе паутина, как искрились и мерцали на солнце сухие верхушки чернобыла, как не ко времени щедро, торопясь выносить в себе семена, цвел какой-то нарядный, по-летнему яркий цветок на меже...

– Все-то как хорошо! Все-то как свято! – говорила бабушка, вытирая концом платка слезы, набежавшие то ли от теплого ветра, то ли от сердечной тоски, когда человек с особым страданием начинает понимать, что мир всегда был хорош и лишь сам человек жил в нем всегда плохо...

Саньке было жаль бабушку, но еще больше было жаль своего воспоминания, когда они с матерью ездили в райцентр и заходили в библиотеку за той удивительной книгой, где говорилось о бабушкином исцелении.



Miroslav Obšlac

Obšlac
1996

– Баба, ты не плачь!– говорила она.

– Я не плачу, внученька. Чо плакать-то? В мире всегда будет хорошо и свято, умру ли я, или жить останусь. Помирать неохота, когда дитям плохо живется. А вам, ноне, слава Богу, ничо живется-то, ничо... Мы-то хуже жили, когда наша мамонька помирала, – отвечала бабушка, и помолчав, спрашивала: – Ты-то хорошо учишься?

– Хорошо, – вздыхала Санька.

– Учись!.. Много знать будешь, жить дальше придется. Хорошо знать, что душа отлетит к свету. И плохо не знать этого.

Вот уж сквозь обнаженный лес стало далеко видно в пустынных светлых полях. Унылая синева встала на севере и все сильнее дуло оттуда студеным ветром. В новый коровник загнали коров, и теперь, помогая матери раскладывать по кормушкам сено и силос, слушая непрерывное, тупое звяканье железных цепей, на которые были привязаны коровы, Санька до слез жалела прошедшее лето, птичьи голоса и шепоты трав, золотую крапиву и вечерний блеск вдали.

“Зато у меня есть библиотека!” – тайно радовалась она, прибежала домой, и, несмотря на холод, переставляла за баней плашки и придумывала им новые названия. Начались осенние дожди, иногда с ледяной крупой и мокрым снегом. На уроках Санька скучала и глядела в мутное серое окно. “На луне дождей нет. Там, говорят, и небо черное. Небо черное, а сама луна светлая. И видно нашу землю. Вот бы посмотреть, хоть одним глазком!” – думала она, глядя на серый мокрый забор и обледенелый тополь, и жалела, что у тополя другая жизнь, что его нельзя впустить в дом и дать ему погреться у печки.

“Тополь греется тогда, когда его испилят на дрова...”

– Саша Веселова! – окликала Светлана Даниловна.

– Повтори, что я только что объяснила!

Санька поднималась с места и растерянно молчала.

– Я целую вечность долблю одно и то же, а ты даже ухом не ведешь! – сердилась Светлана Даниловна, – Повтори, что я сказала.

– Я не знаю, что повторить, – признавалась Санька.

– Садись, два!

Санька садилась и начинала думать о свете Земли над лунным ущельем... Сегодня она эту “книгу” выдаст Нинке Куксе и скажет, что нынче свет ярче, потому что идет снег.

Однако, вернувшись из школы, Санька вдруг обнаружила, что “книг” на месте нет. На опустевшие доски обильно сыпало снежной крупой, в голой черемухе свистел ветер, и болтались на гвоздике Санькины очки из ивового прутика.

– А где моя библиотека? – растерянно спросила она и заглянула под куст, гремевший на ветру, как железо. Потом побежала к поленнице дров, под сарай... Из дома вышла Ольга с тазом мокрого белья и торопливо, кое-как начала его вешать на веревку.

– Где моя библиотека? – в слезах бросилась к ней Санька.

– Какая библиотека? – не оборачиваясь, то и дело пряча от холода руки в рукава телогрейки, спросила Ольга.

– Там, за баней, была моя библиотека. Я ее с фермы таскала! Где она?

– Досточки, что ль?

– Досточки! Это, по-твоему, досточки, а, по-моему, книги! – закричала Санька. – Это моя библиотека! Моя би...

Она не досказала и захлебнулась слезами.

– Вон еще чего! – удивилась Ольга, и, забыв растрясти на веревке мокрую рубаху, взялась за кружевную занавеску, махнула ею, попав по Саньке мокрым краем, отчего она, уже догадавшись об участии своей “библиотеки”, закричала громче, едва выговаривая слова:

– Моя б-библиотека... Не т-твоя, а мо...я!..

– Досточки, что ль? – растерянно переспросила Ольга, с трудом прихватывая прищепками на веревке мокрое кружево. – Которые за баней-то были? Молодец, что натаскала их! А мы седни целый день солому скирдовали, намерзлись, как суки. Мякины налетело в волосы и за пазуху. И машина за нами в поле не пришла... Пешком бежали. Хорошо, что досточки погодились, скорей баню истопила... Сухие, со смолой! Дрова-то намочило, не разожжешь. А досточки пригодились. Вон и выстирала все, и в баню мыться сейчас пойдём...

Санька не дослушала. Рыдая и спотыкаясь о мерзлые комья земли, она выбежала в огород. Снежная крупа уже

стеной шла с севера, ветер выл в черемухе, звякало и дребезжало пустое ведро на огородном пугале. За огородом на пустыре, где высоко в небесной пустыне выли провода, Санька, не таясь, что ее могут здесь услышать, вольно, во весь голос, заревела:

– Сожгли-и-и мою библиотеку-у-у!... Мою библиотеку-у сожгли-и-и!..

И провода понесли эту весть все дальше и дальше по свету.

Эдуард РУСАКОВ

СВЯТЫЕ ВЕЩИ, НАД КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ СМЕЯТЬСЯ

Сегодня утром, возвращаясь с любовного свидания, от жены моего лучшего друга, я оказался свидетелем трагического происшествия: на моих глазах погиб человек. Я стоял на перекрестке возле светофора и ждал, когда загорится зеленый свет. С противоположной стороны улицы наперерез мчащимся машинам рванул некий нетерпеливый гражданин. И тут же был наказан – посреди улицы его сбила синяя “Тойота”. Меня оглушил женский визг. Ужасное зрелище! Лужа крови. Толпа зевак. Примчалась милиция, скорая помощь. Я подошел к несчастному, когда его укладывали на носилки. Сомнений не было: мертв. Молодой еще гражданин, голубые глаза широко раскрыты, выражение лица скорбное. Тут же рядом, на мостовой, я увидел лежащую в грязи книгу. Вероятно, бедняга выронил ее в последний миг своей жизни. Я поднял эту книгу и с легким сердцем решил присвоить ее себе. Так сказать, на память.

Идти на службу было еще рано – восемь часов утра – и я решил отдохнуть в ближайшем сквере. Устроившись поудобнее на скамейке, я закурил и стал не спеша перелистывать чужую книгу. Нет, это была не Библия. И не “Дон Кихот”. И не “Братья Карамазовы”. Это был толстый рецептурный справочник. Вероятно, покойник был врачом.

Вероятно, спешил домой после ночного дежурства. Вероятно, его ждет не дождется верная любящая жена. Но тут я вспомнил о жене моего лучшего друга – и мне расхотелось фантазировать на эту тему.

Из справочника выпал сложенный вчетверо лист бумаги. Я поднял его, развернул. Странный текст. Ничего медицинского в нем не было, уж это точно. Скорее всего, просто заметки, так сказать, для души, для личного пользования.

Вот что там было написано:

“Есть вещи, над которыми нельзя смеяться.

Нельзя смеяться над пьяной женщиной – ведь она чья-то мать.

Нельзя смеяться над ветераном, впавшим в маразм, ведь он когда-то за нас кровь проливал.

Нельзя смеяться над президентом страны, даже если он смешон, ведь он символ нации и государства.

Нельзя смеяться над солдатами и офицерами – они дети народа, охраняющие наш мирный покой.

Нельзя смеяться над русскими – это великая нация, давшая миру Достоевского и Чайковского и перенесшая множество тяжелейших испытаний.

Нельзя смеяться над евреями – это антисемитизм.

Нельзя смеяться над немцами – они потерпели жестокое, хоть и справедливое поражение во второй мировой войне.

Нельзя смеяться над китайцами – это расизм.

Нельзя смеяться над эвенками – это национализм.

Нельзя смеяться над украинцами – это великодержавный шовинизм.

Нельзя смеяться над детьми – ведь они цветы жизни.

Нельзя смеяться над горбунами, карликами и другими уродами – природа и так их обидела.

Нельзя смеяться над христианами, мусульманами, иудеями, буддистами, протестантами, баптистами, кришнаитами – ибо любая вера достойна уважения.

Нельзя смеяться над фотографиями и портретами – лик человеческий священен.

Нельзя смеяться над Пушкиным – это солнце русской поэзии.

Нельзя смеяться над Толстым – это зеркало русской революции.

Нельзя смеяться над Лениным – он велик, несмотря на свои ошибки.

Нельзя смеяться над Горбачевым – он освободил народы Восточной Европы от гнета тоталитаризма.

Нельзя смеяться над Солженицыным – он чуть не умер от рака и написал “Архипелаг ГУЛАГ”.

Нельзя смеяться над любым человеком – ведь он звучит гордо.

Нельзя смеяться над птицами, собаками и другими тварями – ведь они не могут ответить тем же и постоять за себя.

Нельзя смеяться над солнцем, луной, грозой, снегопадом, звездным небом над нами и нравственным законом внутри нас – ибо во всем этом нет и не может быть ничего смешного...”

Вот и все.

Я поднял глаза.

Любопытно, – подумал я, – очень любопытно. Жаль, что этот чудака погиб – я бы не прочь побеседовать с ним на досуге о том, о сем.

Прямо цензор какой-то. “Нельзя смеяться...” Так, может, смеяться вообще нельзя?

Мимо меня, по аллее, прошли влюбленные – парень с девушкой. Они весело смеялись... Какое кощунство!

Неподалеку, на игровой площадке, в песочнице, возились ребяташки. Они галдели как воробьи и, конечно, смеялись.

Я огляделся вокруг – смеялись взрослые и дети, старики и старухи, мужчины и женщины. Смеялись птицы и собаки, кусты и деревья, а на небе ярко смеялось солнце.

И только мне почему-то хотелось плакать, глядя на все это веселое безобразие.

Владимир БЕРЯЗЕВ

НА БОЛЬШОМ ЯЛОМАНЕ

На Большом Яломане вдоль русла лед,
А вода, как жидкий кристалл, течет.

На Большом Яломане, прозрев к весне,
Полыхает багульник на крутизне.

В золотую кольчугу одет Алтай,
Эхом эпоса слышится: “Маадай!”...

В синеву вновь возносятся без помех
Склоны горные – выцветший лисий мех.

Все случается вовремя, как всегда,
Закипит в клюве ворона кровь-руда.

Я вернулся, я вышел на старый путь:
Оглянуться можно – нельзя свернуть.

* * *

На колышек от закидушки
Присели две божьих коровки,
И ожил в эмалевой кружке
Друг-чертушка из поллитровки.

Гуляет сосуд бивуачный
По кругу, как старый коняга.
Под говор и зычный, и смачный
Струится горячая влага.

Раздоры, разбои, размолвки –
Восходят дымком кисловатым.
Вчерашний листок “Комсомолки”
Становится черным квадратом.

И бьется волна о коряжник,
И вьется мошка над кострищем,
И судно “Барабинский бражник”
Песок протаранило днищем.

И божьи коровки, все так же,
Блаженные на солнцепеке.
И нет героина в продаже,
Как нет представленья о Боге.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Есть команда: “Зады не снимать”!
Там живет нерожавшая мать.
Там два куба сосны гробовые
Старый столяр пустил на распил,
Рейку сбагрил, а гроши пропил...
Нет покойников – все как живые.

Урожай – по три горя на круг,
В синих венах разрушенных рук
Кровь протухла. А жертвы аборта
Знать не знают, зачем им душа,
Если вместо нее анаша –
Райским яблоком третьего сорта.

Дайте камеру, сэр-режиссер!
Я пойду на последний позор...
Там, где бабы горят от бесплодия,
Распустился цветок-белена,
И глухого бурьяна стена
Окружает сады и угожья...

* * *

Ангел мой...
Оттепель, таянье,
Слепну на синей меже.
Тайная область свидания
Недостижима уже.

Но погоди, не загадывай,
Не торопи, не шути!
В звездной дали мириадовой,
Там, далеко впереди —

Где-то за мартовским маревом,
То ль на трамвайном кольце,
То ли на солнце миндалевом,
На воробьином крыльце

Встретимся, ангел полуденный,
Встретимся, милая, мы!..
Флейтою, зябкою лютнею,
Как из бродяжьей сумы,

Душу поющую выну я,
Чтобы звучащим лучом
Тонкую нежную линию
Сделать письмом...
Ни о чем

МЕСТОИМЕНИЕ

Летуча тень плывущего листа.
На дне ручья, как в солнечном загоне,
Рябые зайцы скачут... или кони...
Однако все же зайцы. Неспроста
Они — то врассыпную, то затихнут,
Лишь тельца золотистые дрожат.
Под ними мхи и камешки лежат,
То затаятся в сумраке, то вспыхнут...

Как лед ветвей, чуть слышно и светло
Позванивает быстрая водица.
И вторит звуку сытая синица,
Расчесывая клювиком крыло.

А лист плывет, а тень его скользит
По дну, по дну, как легкое затмение.
Лишь гордое собой местоименье —
Тоской сквозит.

Я думаю об инобытии,
Где солнечные ангелы толпятся,
Где нам с тобою суждено расстаться,
Где Дух Святой течет, а не ручьи.

Вот так — листом березы на волне —
И я мелькну над радостным покоем...
Хотя бы тенью, — сбудется ль такое?
Душа моя, напомни обо мне!

Виктория ИЗМАЙЛОВА

ВСЕ ГРУСНО И ВЕРНО НА СВЕТЕ

Стою, в душе звериной просвет не находя,
Над песенкой старинной слезами изойдя.
Не тенор при капелле, раскормлен и усат,
Ее мы с мамой пели сто тысяч лет назад.

Горланили дуэтом, два брошенных птенца,
А думали при этом — синхронно — про отца,
Что, мол, кому-то крышка, кранты, как ни крути,
А наш-то, докторишка, у смерти на пути.

Мы вслух его бранили, грехи его копя,
Мы так его любили! Безмолвно, про себя...
Из подкаблучной дали, с восточной стороны,
О, как его мы ждали! Как были мы верны!

Я выходила порою ранней, чтоб дать им хлеба,
Чтоб в пенье крыльев и воркованье слышать небо.

Она парили, они мирили с любой погодой.
Они царили, они дарили меня свободой.
Они носили из высей горних благие вести,
Они учили в гульбе и в горе держаться вместе.

А снег валился промерзшей кашей по ильмам голым,
И время бойко клевало наши года, как голубь.
К иному ль дому дружок продажный переметнулся,
Но каждый в небо взлетел однажды – и не вернулся.

Снег не растает, и нарастает тоска, хоть в прорубь.
Я в этой стае, я в этой стае – последний голубь!
Мои объятья, мои проклятья пусты и кротки.
О, где вы, бабки, деды и братья, дядья и тетки?!

Кто стукнет в окна легко и сладко, на посиделках
Кому расскажешь об их повадках, об их проделках?!
И что отныне мои порханья и воспаренья?!
Кого взволнуют мое дыханье и оперенье?!

Пытаю, плача о многоточье, небес глубины,
Но птичьи стаи, равно, что волчьи. Нет голубиной!
Ларьки, бульвары, садов мочала, дворы и бары...
Я не умею начать сначала, мне нету пары.

Алексей БИТНЕР

ЖИВОГО ПОЧЕРКА НАКЛОН

Между мною и линией дальних огней,
Между решками драхм и орлами гиней,
Трижды проклятых между и между святых,
Между множества точек и меж запятых,
Промежутками боли при стирке бинтов
Я не волен увидеть, но видеть готов
Невозможную цену

Ночной тишины,
Сумасбродную сцену
Прошедшей войны.
Между лунным желтком и земной скорлупой,
Между окриком “Встать!” и командой “Отбой”,
Между биркой роддома и дат через штрих,
Прежде умерших между и между живых,
Перебежками дня вперемешку со сном
Предугадывать можно, но только молчком,
Где провалятся сани
Под ахнувший лед.
Ждать беда перестанет
И произойдет.

Между ценами яхт и простых мелочей,
Между взглядами старцев и их палачей,
Каждым первым промеж затесался второй
Между стенами тюрем и синей горой.
Истрепалось сукно на рабочей спине,
Хитро прячется истина в водке-вине.
Открывается смысл
Только задним числом
На весах коромысл
До беды - и потом.

* * *

Ермак в заветные года,
Хлебнув медка глоток,
Пошел походом не туда -
Зачем-то на восток.

Видать, от тяжести кольчуг,
Сквозь ливень, снег и гнус
Ему причудилось, что друг -
Калмык, эвенк, тунгус.

Что остается, грешным нам? -
Средь чумов, изб и скирд

С культурой честно, пополам
Мы смешиваем спирт.

* * *

Настояла весна, убедила -
Кто хозяйка, кто главная тут!
Стаи льдин - кочевых крокодилов
В немоте плотоядной плывут.

Влажно искрится рябь на стремнине,
Склонна крыша коттеджа краснеть,
К ветерку обращенная, стынет,
Как щека моя, берега твердь.

Глянь - накатами свежих потоков
Ветер коршуна хочет поддеть.
Приглашает валун-лежебока
На шершавой спине посидеть,

Посмотреть в бирюзу горизонта,
В высью сжиженный газ-кислород,
Углядеть очертания дронта
В дальнем камне гранитных пород.

Будет лето, и Обь обмелеет,
А пока, обнаженно честны,
Ветлы руки отмерзшие греют
Под скупыми лучами весны.

Юлия ПИВОВАРОВА

СВАДЬБА

Вечера трехцветная свеча,
И водила в путь зовет клаксоном,
И нога озябла под капроном,
И кровинка капает с ключа.
С белой газированною пеной

Синяя смешалась борода,
В душной переполненной пельменной
Хнычет полоумный тамада.
Одинокый гусь лежит на блюде,
У дверей кавказцы курят пыль...
За столом сидят худые люди,
Дарят бабки крашенный ковыль.
Светится прелестная невеста
В кружеве и в горном хрустале,
Звуки похоронного оркестра
Издают игрушки на столе...
Гость незванный шепчет мне на ухо
Черте-что и не понять о ком.
Потирает руки точно муха
Наглый полицейский за окном.
Пьет свекровка – темная лошадка,
Поминутно просит слова поп
И под крики яростные – Сладко –
Губы опускаются на лоб.
Прибывают лица местной власти,
Муторно солидно говорят...
36 картей 4 масти
Карлица раскладывает в ряд,
Кум кричит куме – “Тебя посадят”,
А кума шипит ему – “Подлец”.
Скоро утро. “Свадьба, свадьба, свадьба” –
Завывает Лещенко – певец.

* * *

Упрямство пишущей руки
С твоим упрямством не сравнится.
Беги над пропастью тайги,
Любви подобная зарница,
Беги в мятежную мечту,
Где человек неповторимый
Почистит спичкою мундштук,

Чтоб закурить дешевой “Примы”.
Люблю ее овальный срез
За то, что он совсем без фильтра.
Так и тоска твоя без слез,
А страсть без сладенького флирта.
За счастье жить без новостей
Отдам героям говорильню,
За жизнь над кастингом костей
Лирическую героиню.
Хотя так весело взлетали
Над ней, любимые сперва,
Необходимые едва ли,
Молекулярные слова.

Станислав МИХАЙЛОВ

* * *

Холодно в небе сгорает заря.
Холодно смотрит на пасынков Отче.
Медною милостыней октября
Век ожидания станет короче

На день должно быть, а может на два,
Столь невесома земля за спиною,
Что и душа не жива, не мертва
Бредит любовью и ею одною

Как-то со временем сопряжена,
Жизнь прожита, а пустая облатка,
Медленной памятью давнего сна,
Таает так долго, так приторно сладко.

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ

На развалинах Рима встает краснолицый Багдад,
По Парижу в оленьих упряжках шуруют якуты,
Над Берлином “Хазарский словарь” развернул Милорад,
Глинобитный Биг Бен в белый войлок по брови укутан.

В Улан-Баторе Герхарда Шредера знает любой,
Потому как погонщик верблюдов в цене у монголов.
Доллар четверть юаня не стоит, а Буш молодой
Ходит в рваном халате в простую казахскую школу.

Царствуй, светлая Азия, кто не успел присягнуть
На задворках империи тупо припал к мемуарам.
Ведь по сути своей Млечный путь — это Шелковый путь
С исполинским вселенским размахом и жертвенным даром.
Царствуй, Азия!

Вячеслав ТЮРИН

* * *

Сила нежности — в наших годах.
Зимах, летах. Особенно веснах.
Только осень одна. Разгадав
Эту вещь, обратимся во взрослых.

И начнем, о судьбе говоря,
То вздыхать, то смеяться некстати.
Посмотри, как бледнеет заря,
На восходе ли то, на закате.

Быть как дети? Вот именно — как.
Относительно все, кроме страха.
Это он теребит за рукав
И маячит во мгле, словно плаха,

Все, чего ни коснуться, — все тлен.
Только сила любви материнской
Краше неба, сильнее перемен
В этой страшной судьбе разночинской.

* * *

Стоит усадьба, ветхая денми.
Вокруг усадьбы ходит, как хозяин,
Осенний ветер, блудный сын окраин;
Кочевник вечный, проклятый людьми.

Он ворошит лежалую листву,
Окрестного волхвует в кронах леса.
Он сызмальства приучен к волшебству,
В котором я не смыслю ни бельмеса.

* * *

Я недалек от мысли, что в раю
Нас оживят, подлечат, вставят зубы,
Научат петь подобно соловью,
Блаженную бессмыслицу свою,
Рулады, серенады. Почему бы
И нет? В раю тепло, не надо шубы.
Достаточно рубахи, шаровар
Или простой набедренной повязки.
Кто же теплу предпочитает жар,
Тому добро пожаловать в кошмар.
Тот должен побывать в гостях у сказки
С дурным концом. Однако, без развязки.

* * *

Все ярче с каждой осенью листва,
Блестя подобно маслу живописца.
Поверишь ли, с дороги можно сбиться,
Подыскивая на ходу слова.
Я снова стану, с горем пополам,
Искать лица любви, — хотя бы взгляда,
Тем временем, как бронза листопада
Валандается с ветром по дворам
И даль изобразила полосу
Закатом окровавленной бересты.
Багрец увял, и высыпали звезды,
Напоминая летнюю росу
На бархате ночном, как горсть алмазов
В узорах и ветвях дубов и вязов.

ЗВЕЗДА КОЧЕВНИКА
из цикла “Протяжные гимны”

Эхо

Два полушарья Земли – словно две перевозданные юрты,
дымкой галактик одетые, слитно в пространстве плывут.
Утро кентавровых саг, золотые уста Заратустры,
Ультрамарин поднебесья и вещей травы изумруд.
Эра могучих сказаний зачем мою песню тревожит?
Эхо анафор степных ощущаю дыханьем своим.
Лад стихотворный – от родины. Горы как вечный треножник.
Ланью промчались столетья. Небес можжевеловый дым.

Тангра¹

Топот оседланных бурь проносился по желтым степям
от Саян до Дуная.
Ток бесконечных племен, утвердивших Евразию
как праединство народов.
“Тангра ведет мое сердце и племя мое от полыни
к бессмертью”, –
Так начинал Аспарух свое слово, на пыльных путях
обретая отчизну.
Тысячелетье кружилось: кириллицы песнь,
освятившая духа начало,
Тень полумесяца на византийских руинах и колокол
поздний славянства.
Тайным послom отшумевших времен я пришел к тебе,
мадарский всадник.
“Тангра”, – воззвал к небесам я, и в розе полуденной запах
услышал полыни.

¹ Тангра – вырховный небожитель протоболгаров, монголо-бурятское “Тэнгра”

ДАУРИЯ

Дар золотого пространства – Даурия, кони каурые мчат
над Аргунью.
Данники неба, владыки мгновений – дауры оставили
имя простору.
Дали сомкнулись, и вал Чингисхана засеян зеленкой
и красной гречихой.
Долгого солнца лучи сквозь листву желтизной отливают
казахских лампасов.
Добрый сентябрь отары пасет у холмов, и бредут
караваны зародков.
Да, моя Азия: дикий цветет абрикос, словно сакура,
рядом с польнью,
Дао – завет мудрецов – снилось мне – сопрягается с Уром
– столицей шумеров,
Дара¹ – богиня и аура жен декабристских – Даурией
все откликалось.

Мон

Мон – изначальный простор, окутанный вечности дымкой.
Мольбища Неба хранимы твердыней Саяно-Алтая.
Молнии яростных конниц – от праотца Сизого Волка.
Море протяжных поэм – от праматери Лани Прекрасной.
Миф воплощается в мире, где данником Мона – полмира.
Мир продолжается в мире, в котором царит Мона Лиза.
Мой Монголжон³, словно птенчик Великой степи –
заповедный,
Молча прижался к земле, чтобы тайн своих крылья
расправить в грядущем...

Кочевье

Иссине-светлые дали опять оживают в дымке сигареты.
И продолжается путь от Байкала и снова к Байкалу.

¹ Дара - тибетская богиня, почитаемая народами Центральной Азии.

² Монголожон – название долины в горах Восточных Саян.

Утренний гул двадцать первого века встречаю в дороге.
Угол пространства меняю на круг вековечный кочевий.
Юг выбирала стрела моих предков, а седла смотрели
на север.
Юрта вселенной моей упирается в небо Полярной звездой.
Я возвращаюсь к себе, как в гнездо возвращаются птицы.
Ястреб мне высь очертил, журавли – неизбывность простора.

Азия

Аз – на монгольском наречье “удача и счастье”.
Да, именно “счастье”.
Азия, лани твои торопили мое на земле появленье.
Азбука вечных писем, проступавших на пальмовых
листьях и скалах.
Азимут веры, искавшей в пустыне опору и храмы в душе
воздвигавшей.
Алангуа, из сияния лунных лучей створявшая
всадников грозных.
Алою пылью клубились просторы, и лотос в уставшей
пыли распускался.
Айсберги гор вырастали из бездны песчинок,
Спрессованных жизнью и смертью.
Азия – твой караван так велик,
Что отыщется след мой едва ли.

1 Тангра – верховный небожитель протоболгаров, монголо-бурятское “тэнгри”.

2 Дара – тибетская богиня, почитаемая народами Центральной Азии.

3 Монголжон – название долины в горах Восточных Саян.

ОБ АВТОРАХ

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Васильевич родился в 1951 году на Сахалине. Работал в геологоразведке, на заводе, в газетах. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Юность», «Октябрь», «Уральский следопыт», «Сибирские огни» и др. Автор книг «Ожидание», «Эхо», «Могила для горбатого» и др. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

БЕРЯЗЕВ Владимир Алексеевич родился в 1959 году в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук». Живет в Новосибирске.

БИТНЕР Алексей Владимирович родился в 1962 году в Новосибирске. Окончил исторический факультет Томского государственного университета. Является одним из создателей частной ЭКО-школы, директором которой остается по сей день. Публикуется впервые. Живет в Новосибирске.

ДУГАРОВ Баир Сономович родился в с. Орлик Окинского района Бурятии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства, кандидат исторических наук. Его стихи печатались в журналах «Байкал», «Москва», «Октябрь», «Сибирские огни», переводились на монгольский, латышский, болгарский, венгерский, английский и другие языки. Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

ИЗМАЙЛОВА Виктория Викторовна родилась в 1964 году. Работает врачом в одной из Читинских городских больниц. Автор поэтических книг, в разные годы выходящих в Чите и Петербурге. В этом году подборка стихов опубликована в журнале «Новый мир». В «Сибирских огнях» печатается впервые. Живет в Чите.

МИХАЙЛОВ Станислав Геннадьевич родился в 1962 году в г. Полевское Свердловской области. Окончил Алтайский государственный институт культуры. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Мангазея», «Крещатик» и др. Автор поэтической книги «Июлия». Живет в Новосибирске.

ПИВОВАРОВА Юлия Леонидовна родилась в Новосибирске. Училась на Высших литературных курсах. Работала зав. отделом в журнале «Горожанка», новосибирских газетах и на радио. Стихи печатались в журналах «Сибирские огни», «Юность», «Дарование». Автор поэтических книг «Теневая сторона», «Охотник». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

РУСАКОВ Эдуард Иванович родился в 1942 году. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Работает заместителем главного редактора журнала «День и ночь». Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Енисей», «Согласие», «День и ночь». Книги повестей и рассказов «Конец сезона», «Театральный бинокль», «Остров Надежда», «Стеклянные ступени» публиковались в Московских и Сибирских издательствах. Член Союза писателей России. Живет в Красноярске.



Куулар ЧЕРЛИГ-ООЛ

ЛЕНОК

Иду вниз по воде с удочкой. На крючке - живая мышка. Ай, клонул огромный ленок, с такой силой вдруг дернул, что я плюхнулся в воду. Может, это и спасло леску – а то сорвал бы. Подтащив рыбину, я хотел перекинуть ее через плечо на берег. Да забыл, волнуясь, что сзади-то тоже русло реки!

Тувинцы говорят, от стыда убил свою собаку. Упустив рыбину, я стал почему зря ругать жену, которая стояла на другом берегу:

– Что рот разинула, хоть бы юбку подставила, видишь, какой громила ушел!

Удилище-то осталось в руках. Но мне теперь было не до него, проснулся стыд, что зря обидел жену. Молча крыл себя последними словами.

И тут за удилище что-то снова потянуло! Может, зацепилось, подумал я и стал осторожненько вытягивать. И тут между ног упала рыба! И с громким плеском зашлепала по мелководью. Это был тот самый громадный ленок! Сроду не видел ничего подобного. Вывожу аккуратненько его из воды, вижу гребень:

– Сюда, сюда, рыбонька, о-хаай, только не сорвись...

Левой рукой тихо вытаскиваю из-под ремня подол рубахи, поднял рыбу, запеленал в ткань. Голой рукой уцепить - выскользнет.

Какая тяжесть в руке! Надо еще крепче завернуть. Целая охалка, а не рыба. Священный Хемчик, благодарю тебя за жертву! Не заberi этот дар обратно.

Теперь бы мне только перебраться с этого острова. Какие скользкие камни, сплошная зеленая тина! А течение - стремительное, бешеное! Сняв ремень, я привязал к животу спеленатую рыбу. Ну, с Богом, вперед. Бреду. Вода в нос

попадает. Лучше плыть. Нет, удочка мешает. Ай, брюки мои, ну и ладно, лишь бы самому доплыть.

Я на берегу! Голый абсолютно! Рыба извивается в рубахе.

Вытряхнул на поляну. Красуется, пытаюсь спастись, извивается. Прелесть!

– Жена-а! Глянь, что за чудо!

Жена сердится. Ворон не каркнет, сорока не прокричит.

Бегу по острову, ищу:

– Ми-илая! Саглай!

Вижу следы. Ио хайт, вот она, родимая, сидит в зарослях, дуется.

Неохотно оглянулась:

– Ну и кто?

– Пестрач, милая!

– Да что ты? Большой? Как ты его?

– Удочку бросил и о тебе думал.

– Вот-вот, для удачи полезно. А ругаться бы не надо. Слушай, а штаны-то где?

– Ладно тебе, никто ведь не видит...

– Сиди уж здесь, я за брюками сбегая.

Я сидел на приятно греющем песке. Невольно вздремнул. Очнулся от внезапного шума. Вижу, молодой коршун тащит в небо нашего выстрадавшего ленка. Господи, что я жене-то скажу?..

МОЛЧАЛИВАЯ СМУГЛАЯ ЖЕНЩИНА...

Оказывается, ночью я уснул, не убрав с кухонного стола недописанные стихи. Утром проснулся, вижу – глаза у жены ехидные-преехидные, ясно-синие за подозрительно поблескивающими стеклами очков.

– Сон, вижу, потерял на почве вдохновения?

И начинает цитировать, особо интонируя на строке:

– Тихую смуглую женщину...

Тут я вклинился и спокойно добавил:

– Да, как я раньше не замечал...

Будто ей соли в рот насыпали, ей-богу!

– Да-да, вот чего ему дома не сидится! То ему в командировку, то в театр, то на презентацию... И какая

же такая чернявая тебе, родненький, башку вскружила? Молчаливая, посмотрите на него!

Красавица моя. Грудь вздымается, глаза ярко вспыхивают и даже зеленеют от ярости...

Я, проглотив язык от такой красоты и темперамента, сижу как немой. Взвизгнула напоследок, словно кошка, и шуриша тапочками, выскочила из кухни. Ну, думаю... как я раньше не замечал молчаливую смуглую женщину...

Вот это да, ревность к творчеству. Попробуй теперь дописать до кульминации. Попробуй раскрыть глубину образа. Все кануло.

Видно, суждено нам было родиться на белый свет такими вот горячими душой двойняшками. Не один я на свете, следят за мной с любовью и ревностью эти ярко-голубые глаза...

ШЕРИГ-ООЛ ИЛИ ЧЕРЛИГ-ООЛ?

Как-то поехал я на встречу с читателями в Межегей. В сопровождении местных даргаларов. Заехали на чабанскую стоянку. Собралась такая толпа, будто сам президент приехал. Слышу, оставшийся за хозяина глухой старик переспрашивает у шофера:

– Это Шериг-оол приехал?

Тут я подошел к нему, поздоровался за руку и громко крикнул:

– Нет, не большой дарга Шериг-оол, это я, Черлиг-оол, простой писатель!

Отпили чай, я читал стихи, люди хлопали. Старик варил мясо. Мне казалось, что он все слышит и понимает лучше иных ушастых: изредка он хитро подмигивал мне и улыбался. У старика зрела какая-то мысль, заходя и выходя из юрты, делая свои хозяйственные дела, он то и дело что-то тихо бормотал себе под нос. Сварив полный чугунок мяса, он поставил передо мной корытце с ужа и громко сказал:

– Вот, пожалуйста, Шериг-оолу, как самому почетному гостю – ужа.

Раздался дружный хохот. Мне было страшно неудобно. Не до еды. Говорю снова:

– Дедушка, я же говорил, что я не Шериг-оол...

Он развел руками и подал мне большой нож с серебряной рукоятью, мол, кушай да помалкивай, там разберемся, кто ты есть.

Я хотел было разрезать ужа на кусочки и раздать всем, начиная с даргаларов.

Но старик, вознеся молитву к небу, спокойно сказал:

– Угощайся на здоровье, сынок. Это только тебе. Я вижу, ты правильно держишь пож. Городские уже совсем разучились. А что ты так испугался, когда я тебя спутал с Шериг-оолом? У тебя у самого волосы уже белые. И худой ты очень...

Интонации его голоса были так спокойны, а язык так чист, что мне первый раз за долгое-долгое время странствий моих по жизни и по миру показалось, что попал я в родную юрту...

Монгуш ДОРЖУ

СЕРЕЖКИ

Письмо матери

Письмо мамы было кратким и прямым:

“Дорогой сын. Отправляю тебе к майским праздникам любимые тобой с детства блюда ээжегей и толченое просо. Поделись с друзьями.

Ах, да, твоя сестра, недавно съездив в Кызыл, привезла интересную и радостную новость. Передай горячий привет моей невестке. Смотри, не забудь...

Что лучше семейной жизни для возмужавшего человека, который через несколько дней окончит учебу? Что нам с отцом? Мы же не растем с каждым днем...”

Кто-то постучал в дверь. Не успел спрятать мамино письмо под подушку, как зашли Омак-кыс и Саяна.

Омак-кыс, оглядывая мою комнату так, как будто никогда раньше не заходила, сказала:

– Мы слышали, что к праздникам ты получил посылку из дома, Шолбан. Мы тоже ждем со дня на день. Говорят

ведь: “Черная пиала с ответом”, - и оказалась рядом со мной.

– Присаживайтесь. Я уж уважу вас, - говорю я и выставляю на стол домашние вкусности.

– Ой, эжегей! Как вкусно! И просо есть! У меня есть сметана. Принесу-ка – сказала Саяна и выбежала из комнаты.

* * *

– Твоя подруга любит просо, Омак? - спрашиваю я.

– Она же дочь Танды. Родилась там. Даже имя означает то, что она дочь Тувы. Никто и не знает, что мама у нее русская. И говорит чисто по-тувински. И лицом не отличается от тувинок - пошла в отца. Говорит, что выйдет замуж за тувинского парня. Давай познакомим ее с твоим братом, когда он вернется из армии, - задумалась Омак-кыс.

– Давай, Омак. И характер у нее добрый. Сколько ей лет исполнилось? – невзначай спросил я и застеснялся своего вопроса.

– Всего лишь двадцать. Если сравнивать с ягодой, то пора спелости, – задорно засмеялась Омак-кыс. Я присоединился к ней.

* * *

Саяна принесла сметаны в банке:

– Просо – дар Танды. Давно не ела. Аж слюнки потекли. И начала накладывать просо со сметаной в свою чашку. И мы не отставали от нее.

Лучи заходящего весеннего солнца, словно перья жарптицы, щедро разбрасывали разноцветные огоньки во все стороны. Казалось, солнечные лучи делали насыщенной цвет развешивающихся красных флагов. Эти же лучи светились улыбками счастья на лицах празднующих людей... Нежный голос кукушки где-то за рекой словно объявлял о расцвете природы... “Обязательно покажу Омак-кыс письмо матери. Что таить? Не только с друзьями, но и со старшей сестрой я познакомил Омак-кыс”, - подумал я.

– Я покажу тебе письмо. Только не сердись, ладно? - говорю ей во время прогулки в парке.

– Не рассержусь, даже если письмо от другой девушки. Вот тебе моя рука. И настроение твоё не испорчу в праздник, Шолбан, - сказала Омак-кыс и, словно подсчитывая ранние звезды на небе, засмотрелась в небесную синь.

* * *

Омак-кыс, дважды прочитав мамино письмо, посмотрела на меня из-под прикрытых век и, молча подняв руки, положила их на мои плечи... Словно длинная дорога моей жизни слилась с весенним праздником и, воодушевившись святой песней каждого сердца – любовью, помчалась, не зная преград; ни бурных рек, ни склонов Танды...

Это был самый первый раз, когда мы поняли, что весенний праздник – Первой – каждый год будет спрашивать наши юные сердца: “Как живете, друзья?”.

Голубь

Река, укрытая утренним туманом, словно дышит. Белесый пар рвется в небо, но, смешавшись с влагой, проникает еще глубже в землю.

Лютый мороз. Кажется, что мороз звенит. Но прямые лучи солнца сквозь туман и пар проходят, играя-переливаясь каким-то особенным цветом.

Проходя мимо роддома, я заметил женщину, которая кормила голубя через открытую форточку. Она бросала крошки хлеба, а голубь с жадностью подхватывал их. Может, голубь в этот миг перестал бояться ее или давно привык к ней, но он начал брать хлеб прямо с ее ладони...

Внезапно послышался крик младенца. Женщина отвернулась и ушла. Женщина, ставшая матерью, ее беспомощный ребенок, мирный голубь не боятся зимней стужи. Их души наполнены спокойствием жизни. От этого ощущения в моих ушах зазвенели мелодии радости.

Мне показалось, что суровую зимнюю стужу заменила теплота добрых поступков. Я продолжил дорогу с расправленными плечами, со свободной грудью.

ЛЕГЕНДА О ШОШКААЛЕ

Верховье Эзирлиг-Кара-Суга – Орлиной черной речки – заливалось всю зиму, и льдом покрылось огромное пространство. А летом этот лед тает очень медленно, оттого Эзирлиг целое лето не высыхает до места, где она начинает освобождаться от гор. Поэтому близлежащие аалы переселяются сюда с многочисленными стадами, заполняя долину реки, и пасут скот на сочном летнем пастбище, распростертом по обоим берегам с крутыми склонами, прорезанными впадинами и ложбинами, где встречаются небольшими группами и в одиночку хвойные деревья. Летом, когда по несколько дней безостановочно идет дождь и смешивается с водами, сбегаящими с гор, Эзирлиг не пересыхает, а, объединившись с родниками Чер-Аастыга – Дышащей земли, становится на дыбы и безумно скачет через Кызыл-Чыраа – Краснотальник, размывая и обкалывая крутые берега, впадает в могучий Улуг-Хем. В этот период Эзирлиг становится настоящей речкой: в расщелинах, образовавшихся то там, то здесь, его рокот не уступает оживленной беседе доброго молодца из сказочного мира.

Недалеко от верховьев Эзирлига, во впадине возле скалы, расположена зимовка. Из юрты выходит Долчан. Перекинув через плечо инчеек, войлочный мешочек для новорожденных ягнят, она опершись о посох, смотрит на восходящее солнце, щурия глаза и улыбаясь. Дни стали длиннее, заметно потеплело. На горной гряде снег начал подтаивать. Тоненькие льдинки, образовавшиеся за ночь в проталинах, хрустят под копытами уходящих на пастбище овец, а утренний воздух приятно освежает легкие, извещая о приближении весны. Долчан наслаждалась прекрасным утром и даже не заметила, как из юрты вышла мать.

– Что с тобой, Долчан? Посмотри, старик, на дочку, какая она чудная, – сказала старуха Манзал, любуясь дочерью, и улыбнулась мясистым, блестящим от жира, обветренным бронзовым лицом, отчего на щеках появились ямочки.

— Ох, ты, красавица моя, краснощекая моя! Невестой уже стала, невестой, — Омакпан обнял дочь, приласкал и понюхал ее волосы.

— Ты не паси овец далеко, к обеду пригони их поближе к зимовью, поешь. Ладно?

— Пап, а ты почему оседлал своего Калчан-Доруга? Что, брат приезжает из Хаасуута, ты его встречать будешь? — радостно спросила Долчан. Было видно, что она раза ласкам отца.

— Нет, дочка. Съезжу в Ак-Даг. Хочу встретиться с Шошкаал чанги, правителем нашего сумона. Его благородие начал дань собирать. Помощники ему нужны, вот и меня позвал. Если не вернусь, помогай матери, пусть все у вас будет в порядке. Видишь, снег тает, тепло стало, ягнята выросли, теперь самое страшное позади, — сказал Омакпан и обратился к жене:

— Ну, давай, наполняй мою переметную сумку, а то чанги, наверно, сердится мне ли слушать его язвительную речь?

— Пап, счастливо тебе съездить. Скоро вернется брат — как хорошо-то будет! По очереди будем пастить овец, — Долчан пошла за отарой, медленно бредущей по склону, где снег уже растаял.

Омакпан среднего роста и худощавый, но в работе очень расторопный. Чего только он не умеет — любую работу делает мигом! Действительно, он очень живой, бойкий, то выбегает, то вбегает в юрту, а устанет — чашку чая выпьет или ляжет и уснет надолго, и встает, полный новых сил. Но самые главные его качества — красноречие, острый ум и сообразительность. Из-за этого-то Шошкаал и приваживает его к себе, даже считает своим дальним родственником.

Манзал положила в переметную сумку варенные овечьи лопатку, несколько ребер и, по велению мужа, перемешав жареное просо с далганом — мукой из жареного ячменя, все это ссыпала в кожаный мешочек и, положив сверху кусок топленого масла, завязала тугим узлом.

Допив чай из деревянной чашки, сделанной из корня березы, Омакпан вытер ее полотенцем и бросил в сумку.

— Станный человек наш чанги! Недавно отвозил слуг и вернулся очень сердитым. Я слышал, что после этого он начал угрожать нойону — правителю Хаасуутского хошуна. Попал под сильный дождь и опоздал к сроку прибытия, а тот что-то выкинул. На этот раз он меня не зря позвал, что-то будет, что-то он задумал. Говорили, что он приглашал к себе Деспела, чанги Суглуг-Ойских племен Оюннараров. Выпросил у него много сильных молодых кайгалов — удалых парней, чтобы они сопровождали его при доставке в Хаасуут дани и прислуги, даже обещал выплатить по приезду шестерых коней и четырех волов, — Омакпан, вытащив из-за голенища сапога длинную трубку, два-три раза затянулся, проверяя, не забита ли она нагаром, затем вытащил кисет, набил трубку табаком, взяв из очага горящую головню, прикурил.

— На этот раз, наверняка, мне тоже придется ехать. Обстановка очень тревожная. Его величество Шошкаал очень могучим стал, вряд ли найдется такой человек, который бы устоял перед ним. Он уже третий год ездит к Хаасуутскому нойону. В последнее время что-то не сильно торопится туда, даже начал открыто выказывать недовольство нойоном по любому поводу.

— Да, видишь, сколько возни, хлопот доставляет нам все это, — присоединилась к мужу Манзалмаа. — Надо ехать куда-то за тридевять земель, чтобы доставить дань и слуг для нойона. Каких только трудностей не встретишь в пути! Бедняга, мой сын Мончек-оол, наверное, измучился. Говорят, что слуг они иногда задерживают дольше положенного срока. Сколько можно? Всему есть предел! Наш чанги что-нибудь да переменит, преобразит. Гляди, не проболтайся кому-нибудь об этом. Смотри в оба за дочерью, она уже стала взрослой девушкой. Недавно во время Шагаа я видел, что все, кому не лень, кружились вокруг моей дочери.

— На себя бы посмотрел. В тот вечер дочку домой привез Шошкаал-чанги. Сам ты за ней не присматривал, приехал заполночь и навеселе.

— Чуть не произошло несчастье. Приехал к Хузулбекам, вроде и выпил-то чашечку самогонки, и больше ничего не помню. Они ее делают из пшеницы к Шагаа, научились у

уюкских хлеборобов, когда ездили за хлебом. Ну ладно, пора ехать, — Омакпан вытащил из сундука флягу и тоже положил в переметную сумку.

— Вчера осталось, от первой араги этого года. Я отлил на всякий случай. Без угощения не обойтись с Шошкаалом.

Солнце взошло. Омакпан надел тулуп, сшитый из овечьих шкур, шапку из манульей шкуры, обул новые идики и вышел, прихватив сумку.

— Ну, всего хорошего, счастливо оставаться! — попрощался Омакпан с женой, стегнул плетью иноходца. Калчан-Доруг сорвался с места и поскакал галопом.

— Счастливого пути, пусть исполнится твое желание, благоприятной поездки тебе! Господи, помоги! — благословила жена и кропилом брызгала молоком к небу, совершая обряд предков...

Перед самым обедом Долчан, пригнав отару поближе к аалу, прибежала в юрту. Пообедав, взошла на Чурек-Тей — Холм-сердце, присела возле каменной кладки пугала и наблюдала за овцами.

На северо-западе, в верховьях Баян-Кола, белела голова Хаттыг-Тайги, Буранной тайги, сверкала в лучах солнца. Долчан, споря с прохладным весенним ветерком, запела:

С вершин Баян-Кола
черные тучи не уходят.
Веселый мой удалец
из дум моих не уходит.
С вершин Хаттыг-Тайги
черные тучи не убегают.
Улыбчивый мой удалец
из дум моих не уходит.

Ей всего лишь семнадцать, время беспокойной молодости. Тот, кто увидит ее впервые, заметит розовые полные щеки, узкие, лучащиеся весельем глаза, маленькие пухлые с острыми уголками губы, курносый нос, и поймет всю прелесть и несравненную красоту земной жизни, поймет наконец-то, что он счастлив, счастлив по-настоящему, как будто она свой веселый нрав незаметно передает другим.

Очень добрая дочка у Омакпана: лежащую овцу не ударит. Она и сама-то не замечала, какая у нее чистая душа, как она красива, привлекательна, весела. До сих пор у нее наивно-детское поведение, оттого беспокойная, кипучая, непоседливая душа Долчан невольно зажигала в душах людей вдохновение.

Наблюдая за отарой с вершин Чурек-Тея, Долчан вдруг вспомнила, как недавно ехала на одной лошади с Шошкаалом. Лицо ее мигом вспыхнуло. Боясь, что кто-нибудь увидит, она посмотрела по сторонам. Убедившись, что никого нет, вздохнула и даже хихикнула. От радости она вскочила, обняла каменную кладку-пугало волков и стала его толкать, напирала изо всех сил, а пугало, аккуратно сложенное из больших камней, в течение многих веков настолько укрепилось, что ни один камень не шелохнулся...

* * *

...Когда приблизился праздник встречи весны — Шагаа, в зимовках начали приготовления, вытаскивали запасы мяса, оставленные на праздник, варили самые лучшие кушанья из различных продуктов. Накануне выносили все ковры, утварь, одежду, одеяла, выбивали пыль и сами тщательно мылись. Благополучно прошла зима, пусть будущее лето будет богатым, урожайным; пусть скот будет жирным — благословляли они, брызгая кропилом к небу священные настои, молоко, араку.

Омакпан, посадив дочку позади себя на коня, на следующий день приехал в Кызыл-Хая — Красные скалы, где бил незамерзающий родник, место, где по традиции каждый год проводили праздник Шагаа.

Мясо и разные яства варились в полных до краев больших котлах, сверху покрылись толстым слоем жира. И стар и млад собрались, и коней было не счесть.

Ламы, пришедшие из Баян-Кольского храма, освятили родник, совершили обряд окуривания, сжигая можжевельник, читали молитвы из священных книг — сутр. После этого привязали к кустам багульника широкие разноцветные шелковые ленты — знак священного места.

То там, то здесь начинали праздничные игры: городки, стрельбу из лука. Некоторые, встретив старых знакомых, спокойно беседуют, курят, обмениваясь трубками.

Вдруг послышались крики, шум и гам, и внимание всех привлекло происходящее внизу. От священных мест приближались трое всадников. В середине ехал Шошкаал на своем знаменитом скакуне-красавце Оюн-Бора. Издалека виден был прикрепленный к верхушке головного убора белый шарик – знак ранга чиновника и одага – знак достоинства – из павлиньего пера с одноглазым рисунком. Его с двух сторон сопровождали помощники Комбужап хунду и Далаа бошка, чиновники низшего ранга. Бедные люди при их приближении падали на землю, а ламы и богачи опускали голову, чуть кланяясь.

На ровном месте, где чуть пробилась травка, постелены были войлочные ковры и расставлены разные кушанья. Шошкаал сел на почетное место, угостился, а потом встал и направился туда, где играли в городки.

Он высокого роста, сухощав, плотный, ноги сильные, шаги уверенные. Высокий лоб, симпатичное лицо. Всех удивляли его глаза – горящие огнем, как жарники. Характер у него суровый, непоколебимый, речь грубая, доведенная до беспощадной прямоты. Удивительно трезвый ум его сразу же заставлял волноваться того, кто осмеливался вступить с ним в разговор, и в силу этого Шошкаал невольно подавлял собеседника. Вот такой был чанги. Из-за пустяков не обижал, судил справедливо, разобравшись в сути дела. Подойдя к молодому парню, который забыл положить на землю биты и стоял, увидев Шошкаала, приоткрыв рот от растерянности, неторопливо сказал:

– Ну, отойди отсюда: попадет палка – больно будет. Посмотри, как надо выигрывать в городки, молокосос.

Парень послушно положил биты на землю, лукаво улыбнулся и незаметно растворился в толпе. А чанги был в отличном настроении: глаза горели, как у воина, только что одержавшего крупную победу.

Шошкаал очень любил игры – постоянно играл в городки. Выиграв у многих молодых кайгалов уздечки, недоуздки и даже треноги, он, наконец-то удовлетворившись,

пошел на свое место. Но вдруг остановился и повернулся к игрокам.

— Не нужно мне вашего снаряжения — берите назад. Только скоро все поедете со мной в дальний путь. Готовьтесь!

Навстречу ему поднялся его личный певец Хаа-Толгечи. Протянув Шошкаалу пиалу с аракой, певец, сложив две ладони перед собой, запел величальную песню:

Вершиной Баян-Кола
стала Хаттыг-Тайга, о-о...

Владыкой Бай-Кара
стал Шошкаал чанги, о-о...

Почтительно поклонившись своему господину, певец увел его на почетное место.

Омакпан, встретив близкого друга Хулбузека, обрадовался. Друг, как и сам Омакпан, арат среднего достатка, вот-вот должен разбогатеть и стать чиновником.

— О, бог мой, какой орел, какой молодец — вот это да! Настоящий кайгал: все умеет!

Увидев флягу, которую вытащил друг из-за пазухи, Хулбузек заметно обрадовался. Брызнув из фляги араку в сторону огня, к небу и на четыре стороны света, Омакпан произнес:

— Господи, помоги, помилуй! Богатая моя Хаттын-Тайга, все хорошее поверни, все плохое отверни! Мои предки, потомки, богатые горы мои, помилуйте! Безерек-Тайга, Таскыл-Тайга, помилосердствуйте, вскормите нас! Благодатный мой Баян-Кол, седоголовый мой Бай-Кара, пусть во все времена не будет войны, пусть всегда будет мир на этой земле! — Налил себе полную пиалу и выпил. Хулбузек последовал его примеру.

После полудня народ начал расходиться. Такова традиция в день Шагаа — друг друга приглашают к себе, ходят в гости.

— Ну, Омак, посетишь мою рваную юрту? Так не бывало, чтобы в такой день чего-то у нас не было. Поехали, кумыс перегонять будем, — уже и голос стал громче у Хулбузека, и язык заплетался.

Жена дома одна осталась. Дочку тоже здесь не оставишь. А сын прислуживает у нойона. Мне домой ехать надо, —

ответил Омакпан, хотя по голосу ясно было, что он не против ехать в гости к другу.

— Ну, ничего, всего одна ночь. Вот моя жена, пусть меня месяцами не бывает, хоть бы что. В народе говорят: кайгал-молодец не ошибется никогда, коли верен своей жене. Ну, поехали, молодец удалой, кайгал мой храбрый! — все веселее приглашал он, ударяя при этом ладонями о бедра и подпрыгивая от неудержимого своего нрава. И друг не выдержал — согласился.

Хулбузек — табунщик Шошкаала чанги. Он был удалым кайгалом, и поэтому дружков-приятелей у него всегда хватало. Часто уезжал в Хемчик, пропадал там месяцами, где удивительно умело торговал. В нем что-то есть, неспроста в народе славится кайгалом. Высокий, сильный мужчина с орлиным взглядом. Говорит быстро и без остановки, словно строптивый конь скачет, рта не дает раскрыть собеседнику.

Долчан с подругами собрались в кружок и пели, играли, загадки отгадывали. Смотрели друг дружке в глаза — кто скорей мигнет, весело, беззаботно хохотали.

Омакпан подъехал к ним, не слезая с лошади, подозвал Долчан:

— Я съезжу к дяде, вернусь не скоро, а ты с подругой Чечекей иди к ним — их зимовка недалеко. Я заберу тебя на обратной дороге. Хорошо?

И, не дожидаясь ответа, они с Хулбузеком галопом поскакали по ущелью в сторону Доргуна, где находилась юрта друга.

Люди постепенно разбрелись по аалам. Долчан, придя в зимовку Чечекей и недолго побыв там, вспомнила, что мать дома одна, и сказала:

— Я пойду домой, побегу по нижней дороге. Папа меня догонит, наверное. Когда придет, скажете ему, хорошо? Она пошла вдоль русла Кызыл-Хая. Дни еще были короткими, солнце зашло, начались сумерки. Когда Долчан приблизилась к нижней зимовке, две большие злые собаки с лаем выбежали ей навстречу. Не зная, что делать, она встала как вкопанная. Глухо стучало сердце, по спине пробежали мурашки.

Сзади послышался топот копыт. Она осторожно повернулась и увидела всадника, который остановился возле нее, подставил стремя и подал руку. Испуганная лаем приближающихся собак, Долчан сама не заметила, как, схватившись за протянутую руку, вставила ногу в стремя и села сзади всадника.

— Хаит, волки! — выругался всадник и, ударяя камчой, то справа, то слева, отогнал псов. Они успокоились, поджали хвосты, отбежали и издалека проводили всадников лаем.

— На этого коня я никого и никогда не сажал сзади. Держись крепче, может взбрыкнуть или встать на дыбы.

Только теперь Долчан увидела, что всадник — Шошкаал чанги. Тот подозвал своих спутников, ехавших сзади:

— Эй, Комбужап, езжайте по равнине, а я перевалю через горку, съезжу на зимовку Омакпана.

— Хорошо, господин. Счастливого пути! — Два всадника галопом поскакали прочь.

Конь чанги понесся было за ними, и Долчан чуть было не сорвалась с него. Она двумя руками крепко вцепилась в седло. Шошкаал будто предугадал это и правой рукой сильно натянул поводья, оперся ногами о стремяна, всем телом откинулся назад, а левой рукой обхватил за пояс Долчан, чтоб не свалилась.

Какое-то время ехали так, но на крутом спуске конь понес.

— Держись! — крикнул Шошкаал и двумя руками так натянул поводья, что голова Оюн-Боры подалась назад, а рот широко открылся. Но конь успокоился. От испуга Долчан прижалась к спине Шошкаала, крепко обхватив его за пояс.

Добравшись до устья Эзирлиг-Кара-Суга, они повернули направо и поехали по долине реки, поднимаясь к истокам. Долчан смотрела на темное звездное небо. Обычно она не допускала к себе парней, так сыпала острословием, что они отступали. Теперь она смиренно и крепко обнимала Шошкаала. Ей почудилось, что нет на свете человека счастливее нее. Даже немного помечтала, чтобы подружки увидели ее. Невольно молодая девушка ощутила широкоплечее стройное тело Шошкаала. Его уверенность в себе передавалась ей.

Раньше она никогда не была так близка с мужчиной, и это незнакомое чувство волновало.

Дочка Омакпана росла на глазах Шошкаала. В последнее время он все больше стал замечать ее красоту, беззаботную молодость, и искорки влюбленности в его душе готовы были зажечь пламя. Шошкаал радовался, что встретил сегодня Долчан. От одной мысли, что такая девушка, бесценное сокровище, сидит позади него, хотелось ехать на край земли.

Они были погружены в мечты и не заметили, как доехали до зимовки.

– Ну, сестричка, слазь, – сказал Шошкаал и неожиданно для самого себя повернулся и поцеловал девушку в щеку.

Долго стояла она, смотря вслед ускользавшему по горной тропе всаднику. Поглаживала щеку, которой только что касались губы Шошкаала: ей казался сказочным табачный запах его коротких усов...

* * *

...Когда Омакпан доехал до зимовки Шошкаала в Ак-Даге, там была уйма народу и коней, все бурлило вокруг.

– Чанги, господин мой, мира вам и благополучия! – поздоровался он и, попросив пиалу, стоящую на алтаре-сундучке, наполнил ее аракой из своей фляжки. Протянул господину. Тот, брызнув в огонь и разные стороны, отпил и сообщил Омакпану:

– Тревожные времена приближаются. Дорога будет дальней, трудной и очень хлопотной. Хватит подчиняться Хаасуутам. Сумон свой присоединим к самагалтайскому Комбу-нойону, ему будем платить дань – удобно возить туда. Так что нужно тамгу-печать нашу приблизить, лучше будет. Ты человек бывалый, нет земли, где ты не бывал, поэтому советы будешь нам давать, ухаживать за нашими лошадьми, костер сторожить и пищу готовить. Подайте кушанья, накормите Омакпана, – без перехода приказал он и, выйдя из юрты, крикнул:

– Эй! Где Комбужап? Снаряжайте коней, готовьтесь! Поторапливайтесь, пока лед держит. Переправляться будем у Верхнего Хулбус-Даша.

Во главе с Шошкаалом тридцать молодых удалых парней на отличных конях, ведя в поводу навьюченных лошадей, проехали вверх по Улуг-Хему, переправились через него, затем через Элегест и на юго-востоке исчезли в миражах Буренских степей.

Ехали несколько дней, перевалили Тандинский хребет через Калдак, выехали на границу с Хаасутами, расставляя юношей на резвых конях на расстоянии, равном бегу скакуна, и вскоре Шошкаал приблизился к местности, где находился аал нойона. За ближним хребтом, поставив еще одного всадника, он подъехал к стойбищу.

Начиналась весна, снег сохранился только в ложбинах. Слуги нойона вычищали из кошары накопившийся за зиму толстый слой навоза.

Мочеккей, увидев приближающегося всадника, удивленно крикнул:

— Ой, смотрите! По осанке кажется, это мой господин, чанги!

Всадник действительно оказался Шошкаалом.

— Ну, что вы здесь забыли, езжайте все домой! — приказал он. Слуги обрадовались: домой хотелось всем. Тут же разбежались собираться.

Шошкаал подскакал к юрте нойона, минул общую коновязь, спешил к уличной нойоновской и там привязал коня. Подойдя к юрте, начал заправлять одежду так, будто должен выносить тело умершего из юрты: рукава засучил вовнутрь, передок шапки тоже загнул вовнутрь, полы халата укрепил на поясе. Перед тем, как войти, нож на цепочке, который носил за спиной на поясе, не опустил вниз, а засунул спереди за пояс, словно хотел на кого-то напасть. При входе войлочную дверь открыл не левой рукой, как принято, а правой, причем с обратной стороны, откуда выносят умершего. И стремительно ворвался в юрту.

Нойон сидел на войлоке на почетном месте. Шошкаал без жестов приветствия, без благопожелания уставился на него. Нойон испугался и вскочил с места, затрясся всем телом и потерял дар речи.

Шошкаал прошел в глубь юрты, приблизился к стоящему на аптаре низкому столику, на котором были

изображения богов. Схватив лежащую рядом с богами тамгу—печать, хотел было выйти, но нойон обратился к нему:

— Дайте, я благословлю, — и, наклонившись к тамге, начал было молитву.

— Что же ты до сих пор делал, не давая благословления и молитвы? Отцу умершему по башке стучал, что ли, мерзавец? — выругался Шошкаал и, выскочив из юрты, вскочил в седло.

Погони не было. И слуг уже давно след простыл. Перевалив высокий хребет, Шошкаал передал следующему всаднику тамгу, тот, положив ее за пазуху, поскакал дальше. Так, переходя от одного к другому, печать была доставлена в Туву.

А Хаасуты, потеряв тамгу, собрали лам и слали проклятия, совершали молебны, читали сутры. Набив два больших сундука сутрами проклятий, погрузили их на верблюда, заставив его лечь головой в сторону Шошкаала, и связали передние ноги так, что животное не могло подняться.

— Пусть у рода Бай-Кара никогда не будет больше такого скакуна, как Оюн-Бора, и пусть никогда не родится такой храбрец, как Шошкаал, пусть будет проклят этот род на все времена! — несколько дней и ночей, совершая молебны, твердили про себя ламы.

Когда тамгу привезли в Туву, собрались все чиновники во главе с Шошкаалом и, решив объединиться с сумоном Оюннарар, постановили вручить тамгу самагалтаискому нойону Комбу и дань платить ему.

В конце второго месяца весны пронесся над сумоном Шошкаала страшный смерч со снегом, и настали бескормица, сильный падеж скота. Даже чиновники при сборе дани ходили пешком. Но уже не надо было, как прежде, ехать за тридевять земель в Хаасут, платить дань и отвозить туда прислужников.

* * *

...Незаметно вереницей прошли годы. Долчан вышла замуж, стала матерью и жила счастливо. Мочеккей, ее брат,

стал хозяином отцовской земли. Шошкаал чанги стал старым и однажды весной скончался. На похороны храброго, непоколебимого, сурового чанги собралось много народу, и, по его завещанию, тело перевезли из Ак-Дага в Эзирлиг-Кара-Суг. Похоронили на небольшой равнине в верховьях. Среди народа стояла женщина с чуть тронутыми сединой волосами. На лице Долчан не было и тени боли. Вспоминая поездку за спиной Шошкаала, будто наперегонки с весной, она вновь испытывала обворожительное чувство первой любви. Тогда она была готова ехать с ним на край света. От противоречивых чувств радости и утраты, счастья и горя Долчан заплакала, всхлипывая...

С тех пор небольшую равнину, что расположена к югу от верховьев Эзирлиг-Кара-Суга, народ стал называть Шошкаальской степью.

Юрий ВОТЯКОВ

УТРОМ ПО ЕНИСЕЮ Лирические зарисовки

В форме студенческого отряда она сидела на ступеньках у входа в железнодорожный вокзал. Лицо ее, весь ее облик, задорный и смелый, совершенно не соответствовал задумчиво-отрешенному взгляду серых глаз. Я подошел к ней и сказал:

— Здравствуй.

Излом ее бровей стал резче. Она спросила:

— Ты из тайги?

— Да. Из Саян.

— Куда ты сейчас?

Я улыбнулся.

— Чему ты улыбаешься?

— Тому, что сам хотел задать эти вопросы тебе. Как ты сюда попала?

— Так. Пустяки, — сказала она.

А глаза ее были где-то далеко-далеко. Мимо, суетясь и толкаясь, спешили люди. Она встала.

– Пойдем в город.

Мы вышли к Енисею. Она смотрела на горы, тянущиеся по правому берегу, а город тем временем погружался в сумрачную синеву. Стало прохладней, но она не замечала этого.

– Абаканская трасса – это далеко?

– Нет, она начинается от Дивногорска.

Мне тоже надо было в Дивногорск, но я промолчал; потому что был поздний вечер и попасть туда можно только электричкой или “Ракетой” с речного вокзала. А там, за Дивногорском, ни один шофер не взял бы меня. Ночью шофера опасаются брать незнакомых пассажиров: мало ли что.

На речном вокзале я сказал ей:

– Скоро последняя ракета до Дивногорска.

– Я поеду завтра, – ответила она и добавила:

– Сегодня я не хочу.

И мы бродили по улицам Красноярска, и несколько минут постояли на площади у Вечного огня, а когда вернулись на Енисей, к речному вокзалу, она вдруг сказала:

– Ты был в Тюмени.

– Откуда ты знаешь?

– Не знаю. Просто мне так кажется. Расскажи.

И я рассказал ей о Чукотке. Потому что⁴ я работал и там. Потому что звезды над Анадырем горели так же ярко, как горят сейчас над Енисеем. А утром, с первой “Ракетой”, я проводил ее.

– Утром по Енисею – это так здорово, – сказал я. И она согласно кивнула головой.

Счастливого пути, птицы

А сейчас, пока я раздумывал, чем заняться в так неожиданно выпавший день отдыха, вдруг услышал крики гусей. Они вынырнули из низкого расходящегося тумана. Видимо, где-то недалеко останавливались на кормежку. Я схватил пустую ружейную гильзу и выбежал из избушки. Охотники, да и экспедиционный люд, знают, как при

помощи пустой гильзы изобразить гусиный крик. Мне хотелось сказать им:

– Счастливого пути, птицы.

Они сбились с курса и начали круг над нашей избушкой. Больше звать я не стал, а то они зайдут еще на круг, а потом еще, поджидая кричащего товарища, который по неизвестной причине отстал от стаи. А мне не хотелось, чтобы они попусту расходовали силы. Я вышел из-под прикрытия избушки и, сложив руки рупором, прокричал им:

– Счастливого пути, птицы!

Но они зашли уже на второй круг и, только закончив его, взяли курс на юго-восток. Вот и все.

А в груди что-то сжалось, и тоска по необъятному рванулась вслед птицам.

– Шалишь, брат, – сказал я себе. – Место твое здесь, на земле.

“Маяк” передавал музыкальную программу, а я все стоял и смотрел, пытаюсь разглядеть за туманом те незнакомые дальние страны, которые так манят птиц и людей. Двери избушки так и оставались раскрытыми настежь, и она походила на большую неуклюжую птицу с подбитым крылом. И, может быть, впервые я понял, что осень касается не только птиц и деревьев – она касается всего: и людей, и домов, касается телеграфных столбов и проводов, и они гудят совсем не так, как гудят весной, летом и зимой. Она касается рек и мостов, повисших над ними, и даже гудки пароходов стелются то низко-низко над водой, то взлетают высоко-высоко и затихают в бездонной синеве неба. И еще я подумал, что в городах мы не замечаем этого, а если и замечаем, то не принимаем так близко к сердцу...

В городах не осень входит в человека, а человек входит в осень. И не мир, земной и вселенский, растворяется в человеке, а человек растворяется в мире, притом в мире, созданном им самим.

Вот и все, что я увидел и пережил, о чем подумал, глядя вслед улетающим птицам.

Неотправленное письмо

Здравствуй!

Сегодня твой день рождения. Поздравляю и желаю удачи. У нас осень. Шелестят под ногами опавшие листья, а в небе клинья курлычущих журавлей. Сегодня я иду с прорубкой визира, это недалеко от табора (временной нашей стоянки), и потому вечером вернусь и ночью буду спать по-королевски – в избушке и спальном мешке. “Почему в избушке?” – спросишь ты. Да потому что на месте нашей стоянки оказалась охотничья избушка. А завтра мы уйдем в заход. Уйдем с промером – я и командир. Времени между заходами так мало, что я не успеваю написать тебе письмо. Приходится писать с перерывами, и одно письмо – это мой многодневный разговор с тобой. Вот и сейчас (мы уже в заходе), пока закипает чайник, урываю несколько минут для тебя, а откуда-то взявшийся дождь отнимает у меня даже эту маленькую возможность. В Москве 18 часов, у нас 22. Мы вышли из захода, и твой день рождения продолжается – вернее, письмо по поводу твоего дня рождения. Как-то так сложилось, что отметить спиртным этот день никак у меня не получается. Из года в год. Всегда я или в тайге, или в тундре, в общем, в поле.

Лишь один день был исключением, помнишь? В Маркове, на берегу Анадыря.

Ребята лежат и слушают музыкальную программу “Маяка”, а я собрал все свечные огарки, соорудил себе коптилку и продолжаю наш разговор. Над избушкой висят яркие пронзительные звезды, видимо, утром упадут заморозки. Это лучше, чем дождь. Ты знаешь, когда дождь, когда с каждого дерева, с каждого куста и даже с каждой травинки на тебя обрушиваются водопады, когда промокшая “энцефалитка” прилипает к телу, то делается так одиноко и тоскливо, что хочется бросить все к чертовой матери, хочется в тепло, уют, и очень не хочется в такую погоду утром вылезать из спального мешка.

А вылезать надо, потому что уже осень, а работы еще ой-ей-ей сколько. Там, у себя в Москве, ты когда-нибудь видела сентябрьские грозы? А здесь, в Саянах, я слушаю

громы сентябрьских гроз. Да и твоя любимая пора – осень – проявляется здесь со всей непосредственностью дикой природы. И когда смотришь на ярко-желтые лиственницы в темно-зеленой хвое кедровников, на огненно-красные осинники, а по ночам на яркие, до пронзительности, звезды, когда одна срывается и падает, оставляя за собой мерцающий след, то чувствуешь себя неотъемлемой частью этого огромного и бесконечного мира, имя которому – жизнь.

Пока. Чертовски все-таки тянет в сон, а завтра, чуть свет, снова в заход.

Проснулись от сырого пронизывающего холода. В десяти метрах слышны плески невидимого в тумане большого Терела. Разожгли погасший костер, согрели остатки вчерашнего чая, по несколько глотков, только чтобы согреться. Пока варятся концентраты, есть время, чтобы сказать тебе – здравствуй. Туман рассеивается быстро, и сквозь клочья его пробиваются багряно-желтые лучи только что взошедшего солнца. Вчера, когда мы прорубились на вершину сопки, то увидели внизу полыхающую осенним цветом тайгу... И тишина.

А в тишине этой – распахнутая настежь прозрачная синева неба, в вышине которого журавли прокладывали заново издревле известный им путь. И узкая просека визира, как нить, потянулась за нами вниз по склону сопки и дальше через распадок, и еще дальше – к противоположной цепи гор. Нить эта рассекала полыхающую осенним цветом тайгу, она насквозь прорезала осень и чем-то неуловимым напоминала журавлиную стаю. Она была как бы продолжением этой стаи. Ее невидимым в небе следом. Только тянули мы ее на север. А все это вместе: и тайга, и осень, и бездонное небо, и журавли в нем, и тишина – было неразрывно связано с тобой. Любовь – это тоже один из законов бесконечного мира. Любовь – это и цветенье весны, и яркое, до страстности, полыхание осени с серебряными паутинками бабьего лета. И весна, и осень – продолжение жизни.

Истина эта давно открыта, но каждый человек открывает ее для себя. Каждый в каждом поколении. И познает эту истину каждый только сам. Потому что у каждого есть своя ты.

ХАМААН-ХАМААН

В нижнем течении Хемчика — самой большой реки на западе Тувы — есть удивительный край, называемый Сут-Холем, по названию одноименного озера, что в дословном переводе означает Молочное озеро, где испокон веков рождаются не похожие на других, редкие люди. Редкие по характеру и нраву, по облику и складу своему, по физической силе — рождаются, возможно, в столетие раз. Почтительные и вежливые жители этого края снова и снова вспоминают про них, покачивая головой от удивления и восхищения. И в трудные минуты жизни память о них согревает души, и кажутся они вечными живительными светлыми лучами. Не в незапамятные времена, а в наши дни жил один из таких людей.

Был он не таким могучим и сильным, как знаменитые борцы из его родного Сут-Холя, но кряжист и ловок. С детства рос непоседой — не было дня, чтоб родители не повышали не него голос. Рос да рос, повзрослел, завел семью, дети стали рождаться один за другим, но он оставался таким же, как в детстве: постоянно и всюду спешил и торопился — не умел ждать; сказал слово — кровь из носу — всегда выполнит. И лошадь его имела сходный нрав, не успеет он сесть в седло, а Сивка уже мчится галопом, никто не видел, чтоб шла она простым шагом. Хозяин тощей, никогда досыта не пасущейся сивой лошади на любом расстоянии — будь то пятьдесят метров между юрт или многие километры — постоянно мчался на ней во всю прыть. Вверх или вниз по бурной речке Ишкин или по широкой долине Хемчика — от его зорких соколиных глаз не могла спрятаться ни одна скотина: на каком бы расстоянии ни паслись бычки и коровы, лошади и жеребята, он мчался к ним и по привычке высматривал масть, тавро на крупах, определял возраст да еще прикидывал, чья же это животина. Поэтому любой, кто потерял скот, непременно обращался к нему.

Рассказывают, как-то раз он посадил молодую жену на круп Сивки и поскакал домой, к берегам Хемчика. Когда

лошадь стала как вкопанная у коновязи, он обернулся и увидел, что жены сзади нет. “Что она, как перышко?!” — и повернул обратно, но в это время порвалась давно сгнившая подпруга, и он, спрыгнув с лошади, вытащил нож из-за голенища сапога: “А, хамаан-хамаан, ничего! Ничего не случится!” — и, отрезав один из трех волосяных веревочных поясов юрты, подвязал кусок к порвавшейся подпруге. Прискакав обратно, он обнаружил, что жена его свалилась с лошади, когда та перепрыгивала канаву... Жена кричит, а он будто не слышит... И то хорошо, что осталась целой и невредимой.

Летом, когда топил железную печурку в юрте, он никогда не разрубал длинные сухие тальники на короткие дрова, приговаривал: “Хамаан!” — “Ничего!” Что, дескать, бояться дыма да зря силы тратить, размахивая топором! Он засовывал их в печку через порог открытой двери юрты. Толстые концы тальников быстро сгорали в печке с открытой дверцей, выбрасывал длинные шлейфы дыма, а он с каким-то упоением продвигал их вперед, и в скором времени от них оставались прутья, похожие на конские хвосты.

Если он собрался в свои нескончаемые пути-дороги, а на печке еще не вскипел новый чай, только вода по краям пузырилась, он махал рукой — ничего! Горячая ведь. А жена, привыкшая к его причудам, разбавляла молоком недоварившийся чай и наливала его в деревянную чашку, с которой он никогда не расставался.

Вот из-за таких причуд он и получил от своих языкатых земляков прозвище — “Хамаан-Хамаан” — “Ничего-Ничего”.

Хамаан-Хамаан познал и единолично-аратскую, и колхозную, и совхозную жизнь, но неизменно держал собственное небольшое поголовье скота. Раз, по обычаю, он попросил родственников и знакомых помочь заготовить корма. Привел их к облепиховым зарослям и говорит: “Парни, сейчас увидите, участок совсем небольшой, как собачья лежанка”. А у самого в карих глазах под широким лбом, похожим на вершину Кызыл-Тайги — священной горы

этих мест — нет и тени шутки. Косари миновали густые заросли, где висели гроздья облепихи, и тут их лица перекосились, а голоса смолкли. Перед ними простиралось поле без конца и края...

— Для вас, молодых, поляна на два взмаха, — сказал он, и его добродушное лицо засияло, как стальная коса на солнце. Парни встали друг за другом и пошли махать косами, а Хамаан-Хамаан развел костер в тени деревьев и опустил куски жирного мяса осеннего барана в котел. Не успели косари уложить траву в рядок на первом прокосе, как он позвал ребят на обед. Те сперва отговаривались, мол, еще раза три пройдут до края, но хозяин был неумолим. Разговор его был краток:

— Хамаан — ничего! Не убежит поле!

В деревянном корыте дымилось вареное мясо, из которого еще сочилась кровь, а он, приговаривая: “Хамаан, чем мы хуже монголов, они такое мясо едят, оно только сочнее бывает”, — подавал свой острый нож косарям. Не успели те и по ребрышку съесть, как Хамаан-Хамаан вытащил из-под тальника одну из больших и малых пластмассовых емкостей, выстроившихся, словно солдаты на плацу, и стал разливать араку. “А это для крепости рук”, — подавал он пиалу с аракой по кругу. К полудню не осталось ни одного работника, способного держать в руках косу и даже держаться на ногах. Парни, собранные для свершения большого дела, лежали кто на траве, кто на кочке, и только с наступлением сумерек начали вставать, не сознавая еще, где они и что случилось.

Хамаан-Хамаана такой финал сенокоса не огорчил, и он снова позвал людей на помощь... на сей раз парни прошли целых три полосы, когда он позвал их на обед. И снова баранина и арака оказались перед косарями. “Хамаан — лето длинное!” — махал он рукой и знай разливал хмельную влагу по кругу. Финал сенокоса был прежним: свернувшиеся на ухабах и свалившиеся на тальники парни — кровь с молоком — очнулись поздно вечером, а их косы, не затупившиеся за целый день, одиноко торчали то здесь, то там, словно оружие разбитого войска. А травы на поле

шелестели, как будто шептались между собой, высмеивая незадачливых косарей.

Назавтра близкие и дальние родственники собрались и высказались, что уж так неудобно им перед Хамаан-Хамааном, ведь два барана зарезал да десятки литров хойтпака — кислого молока для араки — перевел, негоже так. Гурьбой пошли на поле, сами косили, сами и еду сварили, съели все, но уже без араки. Дело близилось к вечеру, когда скакавший на Сивке Хамаан-Хамаан заметил на своем поле толпу народа. Повернул лошадь к косарям, увидел результаты труда, но даже не удивился. Слез с лошади, взял у одного из родичей косу, подточил камнем, поднятым с земли, и сильными руками, где перекатывались, словно живые, мышцы, стал так наворачивать, что даже молодые ивы, караганник легли в ряд, как подрезанная осока. А на скошенной полосе не торчало ни былинки, осталась почти голая земля, похожая на сверкавшую на солнце свежесбритуую голову.

Когда журавли стали улетать в теплые края, Хамаан-Хамаан нанял совхозный грузовик, чтоб перекочевать на стоянку у подножия Кызыл-Тайги. Подъехали они к месту. Хамаан-Хамаан спросил у водителя:

— У тебя машина поднимается, сынок?

— Кузов, что ли? Так это же самосвал. А что? — удивился молодой водитель.

— Тогда подними кузов! — попросил Хамаан-Хамаан.

— Да ты что! — от удивления воскликнул водитель. — Вся мебель разобьется!

— А, хамаан! Ничего!

Делать нечего, да и водитель заинтересовался таким быстрым способом разгрузки разобранной юрты с утварью и мебелью. Газанул и поднял кузов. Часть мебели была сломана, часть утвари помята.

— Я же говорил, дядя! — то ли оправдываясь, то ли сожалея, произнес водитель.

— Хамаан-хамаан! Что, рук нет? Починю, — как гром в летний ливень, расхохотался хозяин юрты.

Вечером юрта была поставлена, а утром жена уехала в ближайшее село. Детям понадобилось ведро, чтобы сходить за водой к речке. Хамаан-Хамаан, не задумываясь, вылил молоко из эмалированного ведра в деревянную ступу и подал им. Жена приехала, сварила чай, но не смогла найти молока — все ведра были наполнены чистой водой. Узнав, в чем дело, Хамаан-Хамаан поднял ступу с земли и со словами: “Здесь же оно”, — вылил молоко прямо в котел.

Как-то после весеннего посева устроили праздник с хурешем. Хамаан-Хамаана чуть ли не силком заставили участвовать — до тридцати двух не хватало одного борца. Его приемы и ловкость не были известны, и он сильными руками и мощными ногами с легкостью, словно коса, срезающая траву, одного за другим бросал соперников на землю. К великому изумлению земляков, дошел до финала. Болельщики уже в открытую говорили, что настал день Хамаан-Хамаана, и он победит молодого соперника. Но когда секунданты стали совещаться, Хамаан-Хамаан, беспечно сидевший на зеленой травке, вдруг вспомнил:

— Ой, сегодня же друг ко мне должен приехать! Совсем забыл! — вскочил и, не переодеваясь, в борцовских трусах и курточке с легкостью коршуна взлетел в седло Сивки. И был таков. Краешком уха только и услышал удивленные возгласы: “Ты что! А хуреш? Кто будет бороться-то?”. Судьи посчитали его занявшим второе место и отправили приз. А Хамаан-Хамаан подарил его своему гостю из Манчүрека, хотя детей у самого была куча мала.

Когда Хамаан-Хамаан был совхозным поливальщиком, то в апрельские заморозки хлюпал босыми ногами по студеной воде, покрытой ледяной коркой, даже не завернув штанины. На удивление членов бригады, одетых в болотные сапоги, он махал рукой: “Хамаан! Некогда штанины заворачивать! Вот бегите, там прорвало!”

Как-то поздней осенью, когда дыхание зимы чувствовалось за порогом юрты, он утром поленился достать свою обувь из-под кровати и со словами: “Хамаан! Обувь будет целее”, — босиком погнал коров по первому снегу на их любимый островок. Перешел вброд ледяную воду ключа,

от которой даже летом кровь стыла в жилах, собрал хвороста для растопки и вернулся в юрту с дымящимся потом на широком лице.

С тех пор минуло много лет, но рассказы про Хамаан-Хамаана не сходят с уст земляков. Мужчины, рассевшись у костров, частенько вспоминают его проделки, и их смех и гул напоминают грохот камнепада в горах Ишкина. И когда кто-то из них задавал вопрос: “А как его настоящее-то имя было, ребята?” — на него никто не мог толком ответить. Говорят, только один раз седобородый дряхлый старик, похожий на гнилой пень старого хемчикского тополя, вспомнил, улыбаясь беззубым ртом: “Так это же Кентик-оол с Сивкой, из рода Монгушей”.

Эдуард МИЖИТ

Из цикла
“СТАРЫЙ ГОРОД”

Дверь, скрипящая на ветру

Не помню, сколь долго я простоял на берегу. Я стоял, как человек, долго-долго искавший что-то, но нашедший только этот пустынный берег и эти бессмысленно плещущиеся у ног холодные волны. Я стоял, как человек, уже давным-давно позабывший о том, куда шел и чего искал, и не знающий, что ему делать с этим холодным берегом и ничего не говорящим плеском волн. Я стоял так долго, что уже начал превращаться в привычную и неотъемлемую деталь ландшафта. И от этого было холодно не только снаружи, но и внутри. Ветер, как некий дух, носился над водой и, словно пастух, погоняющий свое еле-еле бредущее стадо, гнал и гнал эти ленивые волны неизвестно куда. А над волнами с пронзительными стонущими криками летали чайки, словно овчарки, помогающие своему хозяину. И, будто бы желая поскорее уйти подальше от холода и тоски, пронизывающих все и вся, в бешеном темпе клубясь и завихрясь в вечеряющем небе, уносились на запад, за Саянские хребты стаи кучевых облаков. И в криках чаек

мне слышался плач о чем-то уходящем навсегда и безвозвратно. И точно такой же плач безмолвно бился и корчился в моей груди. Ведь я стоял у той самой темной воды, некогда сомкнувшей свои равнодушные волны над городом, где я маленьким мальчиком бегал по дощатым тротуарам, залитым светом моего детства. И один из лучиков этого света, навсегда сохранившегося в моем сердце, несмотря на беспрестанно накатывающиеся волны времени, неожиданно высветил одно крохотное событие из моего далекого детства, подобно лучам заходящего солнца, прорывающимся сквозь облака, чтобы напоследок излить свой прощальный свет на этот берег.

Вот так же в тот вечер изливался вечерний свет на улицы и дома старого города. И окна домов, странно поблескивая, смотрели на меня, как очки моего деда, водружаемые им на нос, когда собирался очень строго поговорить со мной.

Я любил тогда долго-долго бродить по тихим и почти безлюдным окраинным улочкам этого города, с головой уходя в свои мечты и детские думы, и поэтому не заметил в тот вечер, как погасли последние лучи солнца, как сумрак накрыл тяжелой и шершавой ладонью весь город, как причудливо изменились очертания домов и деревьев. И вдруг я вспомнил, что впереди, через несколько домов, стоит заброшенный дом, о котором ходила дурная молва. Шаги мои сами собой замедлились, я начал поминутно оглядываться в надежде, что кто-то помимо меня появится на улице. Но, как назло, на улице не было ни души. И чем медленнее я шел, тем быстрее и неумолимее приближался “нехороший” дом. Я уже слышал, как скрипит на ветру его скособоченная, еле держащаяся на ржавых петлях дверь. Я уже видел темные провалы его оконных проемов, жутко чернеющие даже в темноте...

Я уже собирался повернуть назад и выйти на большую светлую улицу, где даже ночью светят огни фонарей, как вдруг услышал далеко за спиной чьи-то легкие шаги, частые шаги бегущего ребенка. Я тут же присел на скамейку у калитки какого-то дома и стал ждать и гадать, кто же это бежит за мной. Шаги то замедлялись, то совсем

останавливались, чтобы через некоторое время снова пуститься бегом. В те минуты, когда шаги затихали, я весь напрягался и, затаив дыхание, вглядывался в ту сторону. Неужели он так и не дойдет до меня, неужели он уже вошел в свой дом?.. Мне показалось, что целая вечность прошла в таком ожидании, пока вдалеке не показалось крохотное белое пятнышко, оказавшееся девочкой в белом платье. Ей было не больше пяти-шести лет. Не зная, как привлечь к себе ее внимание, я ни с того ни с сего взял да засвистел какую-то мелодию. И как-то само собой получилось так, будто мне все нипочем, будто я тут сижу просто так, от нечего делать. Девочка вздрогнула и остановилась на минутку, готовая вот-вот сорваться с места. Я спросил ее: “Куда ты идешь?” Она напряженно молчала. Я снова спросил ее, как можно спокойнее: “Куда ты идешь одна? Темно же. Ты что, не боишься темноты?” – “Боюсь”, - тихо ответила она.

– А где ты живешь?

– Там.

– Где там? Да ты не бойся меня, скажи толком, где твой дом?

– Тут, совсем близко. А я и не боюсь тебя, - осмелела она, – ты – мальчик, который живет во-он на той улице.

– Какой я тебе мальчик, малявка, я уже почти взрослый.

– И ты ничего не боишься?

– А чего мне бояться? - расхрабрился я. - Вот еще выдумала! Мы же не в тайге все-таки.

– Ну, если ты такой смелый, то доведи меня до дому. А то я одна жуть как боюсь.

– А что же ты одна так поздно бегаешь, если ты такая трусиха?

– Да играла, играла - и не заметила, что уже темно стало. Я с одной девочкой в куклы играла рядом с ее домом...

– Ну, ладно, так уж и быть, провожу тебя. Ну, показывай, где твой дом? - снисходительно согласился я, а внутри все так и пело, радуясь такой удаче. Пусть это даже совсем маленькая девочка, но вдвоем все же не так страшно.

Я взял ее за руку, и мы пошли. Рука ее была холодной. Как льдинка...

— Ой, как мне сейчас попадет! Мама и папа, наверное, страшно сердятся. Я обещала совсем немного поиграть. Ой, что будет? — щебетала она, но уже совсем беззаботно.

— Слушай, а твои родители могут потом проводить меня до дома?

— А зачем? Ты же ничего не боишься.

— Да не в этом дело, — соврал я и тут же быстро нашелся. — Ведь мне тоже дома попадет за то, что поздно вернулся. А так твои родители скажут, что вот, мол, он провожал нашу дочку...

— Ну, ладно, договорились. Я скажу папе, — пообещала она.

Все поворачивалось как нельзя лучше. И мы, довольные друг другом, начали болтать о том, о сем. Кажется, мне тогда было лет восемь или даже девять...

— Вот мой дом! — радостно воскликнула девочка, остановившись и указывая на большой темный дом. Ставни окон были закрыты, и только сквозь щели еле-еле сочился тусклый свет.

— Ну что ж, давай заходи! — сказал я и открыл калитку. — Только, смотри, не забудь сказать про меня!

— Скажу, скажу, не бойся! — ответила она с каким-то странным смехом, и я тут же подумал: “Вот малявка, врешь ты, наверно. Как заскочишь домой, так сразу и забудешь про меня!..”

Дверь нам открыла молодая, очень красивая и очень бледная женщина. На девочку она даже не посмотрела, и та, прошмыгнув мимо нее через прихожую, как мышонок, юркнула в комнату. “Я так и думал!” — пронеслось у меня в голове. А женщина так и стояла передо мной, молча, уставившись на меня своими пустыми и холодными, точно стекла очков моего деда, глазами.

“Вот, — сказал я, едва шевеля губами, — ваша дочь... одна на улице... а там темно... Вот... Я и проводил...” Я кое-как выговаривал эти уже бесполезные слова, а в голове была только одна мысль: “Вот и все! Теперь она скажет; “Хорошо, спасибо” или что-то в этом роде и укажет на дверь... И мне опять придется идти одному”. В это время из

комнаты вышел мужчина. . . И только в этот момент я обратил внимание на их одежду. Как на женщине, так и на мужчине были длинные серебристые накидки, шевелящиеся, как мелкая зыбь на воде, переливаясь мертвенно синеватыми и зеленоватыми цветами. Одежда на них шевелилась сама по себе, независимо от движений тех, кто ее носил. Нечто похожее я видел незадолго до этого, когда случайно наткнулся на издохшую собаку, всю облепленную белесыми червями и зелеными трупными мухами. Глаза этого человека блеснули так же пусто и холодно, как глаза стоявшей передо мной женщины. Холодные и противные, как те самые черви, мурашки пробежались по моей спине, волосы на голове встали дыбом! Я в ужасе толкнул дверь, но она не поддавалась...

И тут заговорил мужчина:

— Проходи, мальчик. Что ты стоишь в дверях? Дочка мне сказала, что ты ее довел до дому. Молодец! Хорошо, что ты попался ей. (Мне показалось, что слово “попался” он произнес с особым нажимом.) Жена, что ты стоишь, как истукан, усади мальчика, пусть подождет меня. Я сейчас оденусь и провожу его.

От такого обычного, будничного тона, каким он произносил слова, я стал понемногу успокаиваться. Женщина молча придвинула мне табуретку и так же молча ушла в комнату. “Немая она, что ли!” — подумал я, разглядывая ее одежду. Никаких червей я там не увидел. Наверно, она была сшита из ткани, которую я никогда раньше не видел. “Богатые, наверно, или приезжие”, — как-то несвязно заключил я. - Вот бы мне такую одежду, можно здорово напугать ребят”.

Тем временем мужчина скрылся за дверью комнаты, а оттуда снова появилась девочка. Платице на ней оказалось точь-в-точь таким же, как у родителей. Она подошла ко мне и, как-то боком глядя на меня, сказала: “Видишь, я не обманула тебя. А ты думал...” Затем она молча обошла вокруг меня и снова ушла в комнату. А я так и остался сидеть, пристыжено озираясь и думая о том, до чего же у них, у всех троих, такие странные глаза — холодные и

неподвижные, как стекляшки... Все в этом доме было и странно, и обычно одновременно. В большой желтой кастрюле, стоявшей на печи, что-то с бульканьем варилось. Я не сразу обратил внимание на некоторую странность, но потом, постепенно, до меня дошло, что в печи нет огня. Я даже привстал и заглянул туда - в печи не было ни щепочки, а чугунная дверца была холодной. На столе лежали остатки еды, на вид еще свежей, но едой совсем не пахло. Наоборот, оттуда доносился запах плесени и сырой свежевскопанной земли. Глядя на все это, я вдруг ощутил, как сильно проголодался.

“Что, проголодался?” - неожиданно спросил мужчина. Я так напугался, что даже язык онемел. “А что, может, поужинаешь с нами?” - спросил он. Он стоял в дверях комнаты, уже одетый в длинный черный плащ с капюшоном. “Нет-нет, - пролепетал я, - я дома поем”. “Как знаешь. Ну, пошли”, - сказал он и первым вышел во двор. Когда он открывал дверь, та скрипнула так протяжно и знакомо, что у меня внутри все похолодело...

Мы очень быстро дошли до дома моих родственников, у которых я жил в то время. Пока шли, мой провожатый не вымолвил ни слова. Несмотря на то, что в тот летний вечер не было дождя, и даже ветер был теплым и мягким, он надел на голову капюшон и застегнул плащ на все пуговицы.

В доме было темно, наверно, уже легли спать. Дверь была заперта изнутри. Я начал стучаться, но никто мне не открывал и даже не отвечал. Я подбежал к окнам и только хотел постучаться, как заметил что-то неладное. Не веря себе, я поочередно заглянул во все окна, - в доме было пусто. Только лунный свет холодно заливал сквозь окна совершенно пустые комнаты, в которых не было ни людей, ни мебели... Я кинулся к двери, у которой оставил своего провожатого, но его там не было. “Может, он пошел вслед за мной”, - подумал я и снова побежал вокруг дома. Но его нигде не было. Я выбежал на улицу, по которой мы только что шли...но там гулял только ветер... Я ничего не понимал. Постояв какое-то время в оцепенении, я ринулся к соседям, но там меня ждала такая же картина. То же самое было

езде, во всех домах. Город словно вымер в одночасье или все его жители разом переехали куда-то. Ни в один дом невозможно было попасть, все двери были заперты, и заперты изнутри, словно там были люди. Я, не помня себя, носился по этому пустому и угрюмому городу в поисках хотя бы одного живого существа. Я до сих пор удивляюсь, как я тогда не повредился в уме от этого кошмарного события. Видимо, меня спасло то, что я был еще довольно мал для осознания произошедшего.

Наконец, я устал и, присев на какую-то скамейку, горько заплакал. Долго-долго я просидел там, горестно рыдая, закрыв лицо ладонями, пока не устал даже плакать, пока не услышал знакомый скрип двери... Да, это скрипела та самая жуткая дверь. Я вспомнил, что там-то уж точно есть люди, и вскочил на ноги, ужаленный этой мыслью. Я не знаю, почему я так решил, ведь я же заходил не в заброшенный, а вполне жилой дом, где есть люди, которые, к тому же, знают меня. Но я слышал в том доме такой же скрип, вернее, не такой же, а именно тот самый, въевшийся в мой слух, как звуки знакомого голоса. И я побежал на этот звук. А небо на востоке уже светло, словно подлитые в чай несколько капель молока понемногу окрашивали его в сероватый цвет...

Подбегая к дому, я с холодеющим сердцем заметил пустые и темные провалы оконных проемов, щербатый, как старческий рот, забор и дверь, тоскливо скрипящую на утреннем ветру... Я встал, как вкопанный, я не помню, о чем я тогда думал и думал ли вообще, я стоял ни живой, ни мертвый, и только голоса людей вернули меня к действительности... Я не верил своим ушам, я озирался кругом, глядя во все глаза на это чудо - город был жив, люди в нем просыпались и начинали заниматься обычными делами. Никто не обращал на меня никакого внимания, но я был счастлив, счастливее меня в тот миг не было никого на всем белом свете...

Я не знаю, что произошло со мной в ту ночь, а может, все это просто привиделось, но с тех пор я стал нет-нет, да и заворачивать к тому дому и обходить его кругом, не смея

зайти вовнутрь. Иногда в ветреные дни, когда ветер раскачивал дверь, она будто оживала и долго-долго скрипела, тоскливой своей песней напоминая мне о той девочке, о ее родителях, о холодном блеске их глаз, об опустевшем городе и о моей покинутости в ту одинокую ночь.

Но как-то я набрался смелости и вошел-таки в тот дом, и обнаружил, что остатки полуразрушенной печи стоят точно так же, как в ту ночь, и вход в соседнюю комнату был точно в том месте, только двери не было. Я хотел было заглянуть туда, но что-то меня удержало. Может быть я, сам того не зная, не хотел увидеть там пустые стены и пыльный пол, заваленный мусором. Выходя из дома, я заметил в углу у двери большую кастрюлю с облупившейся желтой краской по бокам... Не зная, что и думать, я быстро толкнул входную дверь в мимолетном страхе, что она вдруг не поддастся, не откроется, как в ту странную ночь. Но дверь распахнулась с каким-то жалобным скрипом и долго раскачивалась мне вслед, словно прощалась со мной, словно она наперед знала, что я никогда больше сюда не вернусь. И этот стонущий прощальный скрип до сих пор звучит у меня в ушах, как реквием по той загадочной ночи, по тому старому городу, по моему детству и по чему-то такому, неясному и необъяснимому, что тревожит меня всю жизнь. А эта мятая старая кастрюля до сих пор не дает мне покоя в какие-то ночи, и мысль моя при воспоминании о ней начинает кружиться вокруг моего детства, как я кружил в ту пору вокруг этого заброшенного дома. И в такие ночи я долго сижу на краешке кровати, пристыжено думая, что в суете повседневных дел совсем перестал вспоминать свое детство и припадать к нему, как томимый жаждой к ведру с чистой колодезной водой. А детство мое стоит где-то там, заброшенное и одинокое, и только дверью своей зовущей и ждущей бесприютно скрипит на ветру. И порой мне так хочется, чтобы снова передо мной появилась та дверь, чтобы я снова открыл ее и очутился в своем детстве, полном чудес и, главное, святой и наивной веры в чудеса. И пусть эти чудеса будут такими же кошмарными, как в ту ночь, они все же лучше этого каждодневного кошмара скучной

обыденной жизни, этих бесконечно повторяющихся дел и забот, от которых медленно и незаметно стынет кровь в жилах людей. Стынет и становится похожей на эти холодные, ленивые и равнодушные волны, которые навсегда и безвозвратно погребли под собой тот старый город. И теперь-то уж там точно никого и ничего нет - ни людей, ни улиц с дощатыми тротуарами, ни домов со ставнями на окнах. Там теперь бессмысленно плавают только рыбы с пустыми и холодными глазами. И только чайки над водой безутешно плачут и стонут о чем-то давным-давно ушедшем, и только ветер, как некий дух, носится и носится, словно пытаясь разогнать эти глупые стада бесчувственных волн...

Из цикла "НЕКТО"

Кошмар.

Дело в том, что кошмара, как такового, в общем-то, и не было. Была только одна большая стоячая волна, да и то во сне.

Все началось с тех пор, когда он съездил на море. Там, на море, из-за того, что не умел плавать и не любил шумных компаний, он уходил подальше от людей и часами сидел на пустынном берегу, неотрывно глядя на волны. А море то медленно и спокойно вздымало свои могучие волны, то так же плавно и благодушно опускало их, и ему казалось, что перед ним мирно лежит и мерно дышит какое-то животное невообразимых размеров, а набегающие на берег волны казались его языком, беспрестанно слизывающим золото берегового песка. Всего за несколько дней он успел увидеть и штормящее море, когда огромные тяжелые волны, словно грозные шеренги воинов, идущих на приступ крепости, всей своей яростной безудержной мощью набрасываются на берег, пытаясь отвоевать у суши хотя бы небольшую полоску земли. Иногда ему чудилось, что море пытается отобрать у ненавистной суши человека, то есть его, одиноко стоящего на берегу, отобрать и вернуть себе то, что некогда принадлежало ему, но выползло из его вод, как ребенок

покидает материнское лоно, выпрямилось, ушло как можно дальше, и старается забыть о нем.

За этот короткий срок он понял, что ему никогда не надоест наблюдать за игрою волн, ведь ни одна волна не была похожей на другую, каждая имела свой неповторимый характер, выражающийся в присущих только ей темпе, амплитуде и манере накатываться на берег. “Совсем как люди”, - думал он, хотя с людьми-то он как раз и не делился своими впечатлениями из-за отсутствия способностей к описанию и желания раскрывать душу перед кем бы то ни было. Ему казалось, что море всецело понимает его мысли и чувства до самых потаенных глубин и изгибов, и этого ему было достаточно. Ведь и море, подобно ему, хранило в своих темных глубинах все свои извечные тайны...

Вернувшись домой, он в первую же ночь увидел этот сон. Море и здесь не отпускало его. Волны так же, как и в яви, набегали на берег, сменяя друг друга, словно стараясь дотянуться до него, дотронуться и повести за собой. Но вдруг стремительно поднялась огромная, тяжелая и вязкая волна, угрожающе нависла над ним и... застыла на месте, закрыв собой ночное небо и море. Он начал ждать, когда же она обрушится вниз и с шипением отползет назад в море, утаскивая с собой песок и мелкую гальку. Но волна так и стояла на месте, словно гигантская изогнутая скала, и он отчетливо видел в ней блестящие слои черной воды и свое отражение, до неузнаваемости искаженное в этих наложенных друг на друга прозрачных зеркалах. Эти слоистые зеркала словно бы передавали друг другу его отражение, как фотографию для опознания, незаметно изменяя при этом что-нибудь в его облике. А он все ждал и никак не мог дожидаться, когда же эта волна хотя бы чуточку шевельнется, вот в этом-то и заключалась кошмарность положения. С нарастающим ужасом он почувствовал, что не может ни дышать, ни двигаться...

Проснулся он весь мокрый от пота, хватая воздух раскрытым в беззвучном крике ртом, словно рыба, выброшенная на берег, и точно так же извиваясь в судорожных корчах. С тех пор и начал преследовать его

этот сон, загоняя из ночи в ночь, как умелый охотник. Сон был один и тот же, ничего в нем не менялось, повторяясь и повторяясь вплоть до мельчайших деталей, словно кадры кинофильма, прокручиваемого заново и заново. И от этой удручающей неизменности сон становился все кошмарнее и кошмарнее. “Видимо, так рисуют себе индусы неизменно повторяющуюся смену сотворений и разрушений вселенной, - думал он иногда, проснувшись в очередной раз, – ведь и там весь мир появляется и начинает жить, когда ихний бог Брахма засыпает и видит сон. А когда Брахма пробуждается, гибнет и мир, снившийся ему. И так без конца. И человечество обречено на бесчисленные и бесчисленные повторения своей несуразной истории, сменяющие друг друга с гнетущей и бессмысленной неизменностью. И никуда ему не деться от этого кошмара... Придумают же люди! А все только для того, чтобы, хотя бы в сознании своем, уцепиться за вечность и усыпить свой страх смерти”. От этих мыслей его положение становилось все безысходнее и безысходнее, и он, словно щепка, попавшая в водоворот, все глубже и глубже уходил в себя. Сон загнал его так глубоко в себя, что даже днем он уже не переставал думать о нем. Дошло до того, что порой он неожиданно останавливался прямо на улице и долго стоял, как вкопанный, видя перед собой эту застывшую черную волну. Он не заметил, как перед этой жуткой стеной, так неожиданно прорвавшейся в реальность, постепенно стали совершенно незначительными и мелкими до омерзения все заботы, вся суета и возня окружающего мира. И, может, поэтому он и не видел ничего странного ни в своем поведении, ни в том, что творится внутри него. А для посторонних он и так был нелюдимым, молчаливым и отстраненным. Он также не заметил, когда именно впервые увидел в зеркале воды не свое отражение, а лицо чужого, совершенно незнакомого человека. Может, это произошло во сне, а, может, во время дневного видения, но с того момента он каждый раз видел вместо своего отражения это перекошенное от ужаса лицо с широко открытыми и остановившимися в отчаянии глазами. Со временем, вперемешку с повторяющимся кошмаром, ему

начали сниться еще более странные сны. Он видел города и людей, которых никогда прежде не видел, слышал чужую, доселе неведомую ему речь и, как ни странно, понимал ее. В тех снах он был совсем другим человеком, веселым, общительным жизнелюбом. Там он имел семью, детей, массу друзей, любил петь простые разудалые песни и пить доброе веселое вино, каждая мелочь, – будь то теплое слово друга, ласка жены или грубость прохожего, – трогала его до глубины души. Он принимал деятельное участие во всем, что происходит вокруг, любил с гордостью показывать всем своих детей, много смеялся и плакал... Но то было во сне. А наяву все оставалось по-прежнему.

Однажды, встав поутру и собираясь на работу, он подошел к зеркалу, чтобы причесаться, и... дико вскрикнув, отпрянул от него, как ужаленный. Из зеркала на него смотрело до крайности испуганное, смутно знакомое лицо. И только приглядевшись попристальнее, он узнал самого себя. Оказалось, он настолько отвык от себя, ведь и думал, и чувствовал он теперь по-другому, не так, как раньше, а свои обязанности на работе выполнял автоматически, как запрограммированная машина. Он долго стоял перед зеркалом, пытаясь заново привыкнуть к самому себе, а бешено колотящееся в груди сердце не хотело этого, изо всех сил сопротивляясь принять в себя этот облик, с которым с некоторых пор у него не было ничего общего. Зато его сердце хорошо знало того, кто, отражаясь в водяной стене, являлся ему в снах и видениях. Это лицо заслонило собой весь мир и даже самого сновидца от себя самого. Сердце знало, что тот человек утопает в море, а эта зловещая волна – та самая последняя волна, которая вот-вот накроет и погребет его под собой. Оно знало, что последней отчаянной мыслью того человека было безнадежное, но всё же способное пронизать насквозь все морские глубины, все небеса и время, желание, чтобы эта волна, несущая ему гибель, остановилась и застыла навеки. “Если же это невозможно, то пусть на моем месте, перед этой волной окажется кто-то другой, менее привязанный к людям, земле и жизни”, – думал он. Сердце

сновидца знало также и о том, что тогда, во время его недолгой поездки на море, вынырнула из глубины моря и времени волн та самая волна, волна, которую некогда так истоиво заклинал утопающий. Это была именно та волна вплоть до мельчайших капелек, каким-то чудом вновь воссоединившихся вопреки мнению большинства людей, считающих, что ни одна волна не может повториться дважды. И именно эта волна с фотографической четкостью невольно запечатлелась в мозгу сновидца, одиноко стоявшего тогда на берегу, так же как и он сам в зеркале волны. Сердце знало еще и о том, что в самый последний миг тот, утопающий успел увидеть лицо незнакомого человека, мирно спящего в постели, успел увидеть, как он начал судорожно извиваться, мучимый кошмарным сном...

Через несколько дней после того, как он не узнал в зеркале свое собственное лицо, сослуживцы, обеспокоенные его долгим отсутствием на работе, взломали дверь его холостяцкой квартиры и нашли его мертвым. От его тела пахло рыбой и водорослями. Но самое странное заключалось в том, что его легкие были заполнены соленой... морской водой.

Мария ТЕМИНА

БЕРА

“Мамочки! На кормление!”- пронесся по коридору зычный голос дежурной медсестры. Женщины закопошились и нестройными рядами потянулись туда, где их ждали проголодавшиеся, попискивающие свертки. Отсек для новорожденных находился в другом конце коридора. Алла, на ходу завязывая халат, шаркая по полу огромными больничными шлепанцами, вместе с остальными побрела на вечернее кормление.

Ребенка она хотела давно. И когда ей впервые показали кричащий, сморщенный комочек, ее охватила необыкновенная гордость. Ей казалось, что она совершила какой-то немислимый подвиг. Она с удивлением вглядывалась в

маленькое курносое личико и не могла понять, как же так: вчера еще она была одна, сама по себе, а сегодня вдруг их стало двое, и теперь они будут связаны на всю жизнь, и она теперь не принадлежит себе. Эта мысль ее даже испугала.

У сына обнаружили родовую травму, и их прямо из роддома отправили в детскую соматику. Лечение назначили долгое. Алле, привыкшей к домашнему комфорту, хотелось бежать отсюда. Многочисленные соседки раздражали ее своей возней. На сына она смотрела с укором: “Ну, почему ты болеешь? Другие-то уже все дома!”. Ей было обидно, что она, такая здоровая, родила больного ребенка и вот теперь вынуждена сидеть здесь. Когда медсестра звала новоиспеченных мам на кормление, ей казалось, что они похожи на стадо коров, идущих на дойку. Мальчик плохо сосал молоко, и смотрел на нее как-то исподлобья. “Ну, чего ты такой хмурый, давай выздоравливай! Видишь, мама хочет домой!” – говорила она сыну. Время в больнице тянулось невыносимо. Соседки целыми днями обсуждали болячки детей, сплетничали о врачах и медсестрах. По утрам все шли в боксы к новорожденным и ждали обхода врача, надеясь на выписку. Потом с завистью смотрели на тех, кого отпускали домой. Мамочки постоянно что-то ели, шелестя пакетами, сцеживали молоко. Алла целыми днями лежала, отвернувшись к стене. Когда врач в очередной раз назначил сыну новый курс лечения, она впала в истерику. Ей вкололи успокоительное. Потом с ней провели воспитательную беседу. “Вы должны быть терпеливой, если сейчас не долечитесь, потом всю жизнь будете маяться. Что за детские капризы? Сейчас надо думать только о здоровье ребенка! К тому же, если будете плакать, у вас молоко может исчезнуть. Что тогда будете делать?” И снова потекли однообразные дни - кормления, сон, еда ... От скуки Алла стала разглядывать соседок и представлять, кем они работали, кто их мужья, чем они могут увлекаться. Она придумывала про них разные истории. После кормлений в их палату часто забегала Вера, маленькая женщина лет тридцати. Алла сначала не обращала на нее внимания, а потом заметила, что та забирает

у толстой дородной Вали сцеженное молоко. Потом Валу с ребенком выписали. Вера, прибежав, остановилась около опустевшей кровати, села и растерянно оглянулась вокруг.

Увидев, что Алла сцеживает оставшееся молоко, подошла и как-то виновато попросила: “Отдай мне, если не жалко”. А вечером, проходя мимо соседнего бокса, Алла увидела, что Вера кормит ребенка из бутылочки. “Наверно, свою грудь жалеет, боится испортить” – подумала Алла. Когда Вера пришла к ней очередной раз за молоком, Алла спросила: “А почему ты сама не кормишь ребенка грудью?” Та ответила, что у нее вообще нет молока.

– А почему? – допытывалась Алла.

– Это длинная история.

– А куда нам торопиться?

Вера села и стала рассказывать. С мужем они прожили уже десять лет, но детей все не было. Ездили в город, оба проходили обследование. Врачи сказали, что вроде все в порядке. Обращалась и к знахаркам, к шаманам, но все безрезультатно. Муж, видя, как Вера сходит с ума, сказал: “Не переживай, что теперь поделаешь, не мы одни такие”. Но Вера не могла успокоиться.

Она ходила в районную больницу и требовала новых обследований или лечения. Врачи только разводили руками. Весь медперсонал больницы знал ее проблему, сочувствовали, но помочь не могли.

Однажды знакомая санитарка по секрету рассказала, что одна молоденькая девчонка на седьмом месяце беременности решила избавиться от ребенка и вызвала преждевременные роды. Началось кровотечение, и девушку привезли к ним в отделение. Родилась девочка, живая, но сильно недоношенная. Мамаша сразу отказалась от нее. Да и врачи сказали, что ребенок вряд ли выживет.

Веру словно током ударило. Она помчалась в родильное отделение, на коленях вымаливала разрешить ей взять девочку. Ей сказали, что ребенок нуждается в серьезном лечении и уходе, а гарантий, что выживет – никаких. В общем, правдами- неправдами привезла она ее в город, и

вот уже четвертый месяц лежат они в этом отделении. Девочка слабенькая, ей необходимо настоящее материнское молоко, чтобы иммунитет выработался. Вот Вера и просит у всех понемногу.

“Хочешь посмотреть на нее, какая она стала славная?”. Вера повела Аллу в бокс, где лежала ее девочка. “Знаешь, какая она была маленькая, на руки взять было страшно. Лежала вся в трубочках, ножки и ручки, как у паучка были. А сейчас уже на человечка похожа...” Вера вдруг застыла, схватившись побелевшими пальцами за косяк двери. Алла подхватила ее под руку: “Ты чего?”. Вера остекленевшими глазами смотрела куда-то вглубь комнаты. Алла, проследив за ее взглядом, увидела, что один из куветов пуст. Медсестра, сквозь стеклянную перегородку увидев Веру, выбежала навстречу. “Ты что подумала-то, дурочка. Я твою дочку на укол носила. Иди сюда. Вот она, твоя красавица, даже и не плакала, правда ведь?” – приговаривала она, протягивая Вере малышку. Вера ослабшими руками подхватила сверток и опустилась на стул: “Как ты напугала свою маму, мама тебя потеряла, ах ты, проказница”. Вера окончательно пришла в себя и защебетала: “Видишь, меня узнала, улыбается. Похожа на меня, правда?” Алла с любопытством посмотрела на крошечную, чернявую девочку. Никакой схожести с Верой она не заметила, но та так нежно смотрела на дочь, что у Аллы язык не повернулся что-либо сказать.

– Знаешь, сначала трудно очень было, хотелось убежать подальше, а потом как подумаешь, а как же она, никому кроме меня не нужна. Как я ее брошу? А сейчас и мыслей таких уже нет. Столько мы с ней пережили. Муж приезжает по выходным, тоже ему одному не сладко, ремонт сделал, пеленок-распашонок накупил, ждет нас - не дождется.

Вера прижалась носом к щечке дочери: – “Сладкая моя, мы обязательно выздоровеем, иначе и быть не может, домой поедем к папе, знаешь, как дома хорошо! Папа тебе коляску красивую купил, будем гулять с тобой на солнышке, ты же еще солнышка не видела. Ты у меня будешь самая красивая, самая умная. Мама тебя знаешь как любит!” Вера

повернулась к Алле: “Маленькие все понимают. Я с ней разговариваю она слушает, и, знаешь, по-моему, старается выкарабкаться, кушать стала хорошо, крепнет потихонечку”.

Алла вдруг представила, как ее сын лежит сейчас один в своем кувезе. И такая жалость ее охватила. Выскочила она из комнаты и пошла, побежала к своему сыночку. Такой он маленький, такой незащитный, лежит, сопит тихонечко. Взяла осторожно, прижала и, уткнувшись в родной комочек, заплакала: “Прости меня. Я буду сильной. Ты только выздоравливай! Я всегда буду с тобой рядом. Я стану счастливой, нет, мы станем счастливыми! Да, именно Мы, Мы вместе”.

Мальчик открыл глазки и впервые посмотрел на нее как-то серьезно и осмысленно.

Бабушкины одеяла.

Таких одеял в мире всего три, по количеству внуков. И ценность их не в особой красоте или качествах, просто в уголке каждого, красными нитками, нетвердым детским почерком вышито имя внука, подпись “от бабушки” и год.

Так случилось, что бабушка, воспитав одного своего и двух приемных детей, жить осталась с приемной дочерью. Младший родной сын уехал далеко и там, на чужбине, остался жить, там завел себе семью. Он звал ее, но она осталась здесь, в Сибири.

Дочь Маруся вышла замуж один за другим родила троих детей. И если на саму Марусю бабушка всегда смотрела немного критично, то в детях ее она души не чаяла, а как же иначе, ведь она с самого рождения пеленала их, кормила из бутылочек сцеженным мамой молоком, видела их первые улыбки и шаги. Бабушка выплеснула на них всю накопившуюся и нерастраченную нежность.

Своих растила в строгости, время другое было-тяжелое, больше думала, чем прокормить, да во что одеть. Не до нежностей тогда было. Младшего своего хоть и любила больше других, да сильно не показывала, чтобы приемышей

не обидеть. А с внуками все совсем иначе. Пока отец с матерью на работе, она для внуков и кормилица, и поилица, и сказки расскажет, и спать уложит. В общем, главный человек в жизни. И бежали внуки к ней, то с занозой, то за пирожком, то поябедничать на соседских ребятишек. А она всех утешит, приголубит, где зеленкой помажет, а когда просто понюхает вспотевшую от беготни детскую головенку, да посмеются вместе.

Внучата росли. Вот и секреты у них появились. Бывало, напроказят, и боятся, что от родителей попадет. А бабушке жалко их, сама - то пожурит, а родителям ничего не скажет, мол, что говорить - то, сами как-нибудь выпутаемся.

Старшие однажды пошли льдины ловить крючьями, внучка возьми да и провалилась под лед, вытащили ее ребятишки. А она домой идти боится, влетит ведь. А шуба мокрая, уже заледенела на морозе. Деваться некуда, пришла домой, хорошо родителей не было дома, бабушка быстро раздела ее, натерла водкой и под одеяло уложила. А внучка плачет, мол, маме не говори. Высушила бабушка все, а матери сказала: “Простыла она, пусть лежит, спит”. Так и обошлось все.

С годами у бабушки стали болеть руки и ноги. И по утрам она делала гимнастику, а внучатам смешно, как она кряхтит, но не прекращает, сама себе норму установит, сколько раз наклониться или ноги поднять. Все труднее стало ей спускаться во двор. Этаж - то четвертый. И вот соберется она на прогулку, платок оденет нарядный — “нельзя на люди неряхой ходить” — и тут старший прибежит и на горбушку ее посадит. Она - то сопротивляется, мол, вдруг соседи увидят, что подумают. А он: “Опять будешь два часа по лестнице спускаться — и побежит вниз, да еще подпрыгивает и ржет, как конь. Она смеется. Погреется на солнышке, нагуляется, а обратно - младший прибежит. Сложит руки лопаткой и сзади ее подталкивает вперед и вверх, говорит, что, как на лифте. Весело так жили, друг друга смешили.

А старший подрост и волосы себе по моде отрастил до плеч. Бабушка приставала, мол, обрежь, а то как девчонка.

Ни в какую. Однажды он сидит, телевизор смотрит, а бабушка потихоньку сзади подкралась и хватъ ножницами, выстригла клочок. И хохочет так тоненько, ну что, теперь-то придется подстригаться? Он к зеркалу, и от злости ножницы с балкона швырнул. Она зашаркала шлепанцами и не слышно ее, дверью входной хлопнула. Час проходит, другой. Слышит, вернулась, гулять, наверно, ходила, и сзади опять потихоньку, и хватъ еще клочок. Оказывается, она за ножницами вниз ходила, да так долго, что он уж и забыл. И опять смеется. Тут уж и он захохотал. Деваться некуда, пришлось идти в парикмахерскую. А бабушка после прогулки отдохнуть легла, да вздремнула. Глаза открывает, паренек какой-то стоит незнакомый, она ему: “Вам кого?”. А он в ответ как захохочет. Внук это подстригся, а она и не узнала. Хорош стал, как офицер, какой.

А по выходным бабушка с утра пораньше заводит тесто и вскоре по спящему дому начинали разноситься аппетитные запахи. Пока она пирожки переворачивает, внуки потихоньку сзади хватъ готовый пирожок и в кровать. А как все приготовит, на тарелку горкой выложит и в детскую пойдет. Ребятишкам повалиться охота, а как пирожки увидят, соскакивают быстро — и к столу.

А перед праздниками бабушка посадит, бывало, внуков, мол, будем подарки родителям делать. Вышивать всех учила. Мальчишки не хотели поначалу, мол, не мужское занятие. А она на своем стоит. Нет занятий мужских и женских, в войну-то и женщины, и дети все сами делали. И вообще любое умение, вдруг да пригодится в жизни. И вышивали все, и очень хорошо получалось. Вот так и жили.

Однажды внучка прибежала вся в слезах, услышала где-то, что вроде бабушка им не родная. Бросилась бабушке на грудь и твердит: “Врут ведь все, зачем? Зачем? Да разве так бывает? Ведь не бывает?” Бабушка заплакала. Сидели, так обнявшись, и плакали. И никто в целом свете не мог бы им доказать, что они не родные. Потому что роднее их и быть не может. Внучка знала, что когда ночью ей приснится кошмар, стоит ей протянуть руку в сторону, как бабушка с

соседней кровати протянет свою, и все ночные страхи улетучатся, как только переметнешься в теплую бабушкину постель, прижмешься к ней. И когда рядом пахнет бабушкиными мазями и настойками от ее ночной рубашки, спится так легко и спокойно. А бабушка знала, что это курносое, круглое личико с покрасневшими от слез глазами милее всего на свете. И два мальчугана, которые носятся на улице, тоже самые дорогие и близкие ей люди. А как же иначе? Ведь она знает, каждую их родинку, каждую царапину. И она вместе с ними пережила все их болячки и все их маленькие и большие радости. И пусть если для кого-то - правда, что они не родные, то для них всех, для нее, ее внучат - это самая большая и злая ложь.

Бабушка без дела сидеть не могла. То подушки стирает, то на балконе что-то вырастить пытается, а один раз решила одеяло сама сшить. Шерсть верблюжью купила, постирала, потербила, выложила на материю, простегала, а потом еще шелком обшила. До сих пор служит оно. А потом решила всем приданое сделать. Купила одеяла, и каждый из внуков себе вышивал на уголке надпись. А потом спрятала подальше, пусть ждут своего часа. "Помру когда, вдруг до свадьбы вашей не доживу, так хоть память обо мне останется".

С тех пор прошло около тридцати лет. Под этими одеялами спят уже дети тех самых внуков, которые когда-то вместе с бабушкой, вышивали ее послание через годы. Самой бабушки уже нет на свете, а одеяла живут и греют любимых ею людей и тех, кого любят они. И когда спишь под этим одеялом, слышишь шуршание бабушкиных шагов, запах ее настоек и знаешь, что тебя оберегают и любят.



*Памяти поэта
с уважением —
редакция журнала “Улуг-Хем”*

Евгений АНТУФЬЕВ

Ночь беспредела

* * *

Такие долго не живут.
Их солнце светится багрово.
И разрывает все оковы
Их неожиданный маршрут.

* * *

Душе хотелось света и тепла.
И целый век душа себе лгала:
Что нет тепла. И света нет во мгле.
И что любовь не вечна на земле.
Но вот всерьез сошла на землю тьма.
Пришлось душе всерьез сойти с ума.

Три дороги

Мальчик с усмешкой мне машет рукой.
Мальчик доволен сегодня собой.
Мальчик меня обогнал налегке.
Мальчик беспечно сбегает к реке.

Мальчик по улицам детства бежит.
Нет у него ни врагов, ни обид.

Чистое небо и желтый песок.
Мальчик к развилке бежит трех дорог.

Вот подбежал. По слогам стал читать.
Все-таки трудно судьбу выбирать.

Велосипед

Он просыпался на планете.
В сарае брал велосипед.
И был тому один свидетель —
Блеснувший на руле рассвет.

Он мчался к золотистым плесам,
Наперерез летящим дням...
Совсем не ведая,
Что взрослым
Он юность повстречает там...

Память

Помню берег
Осенний, угрюмый.
Злобно ветер
Гудит без конца.
И антенн
Задубелые скулы,
И парабола
Вместо лица.
И не очень-то
Весело служится
В этом
Богом забытом
Краю...
И антенны локаторов
Кружатся,
Словно мысль
Отвергая мою...

Это все мне
Не раз еще вспомнится.

И взгрустнется
Об этом не раз.
И придет еще
Злая бессонница,
Пощадившая в армии нас.

Бессонница

Крути педалями в рассвет,
Бессонница — велосипед!

Лети по памяти — шоссе,
Точно по взлетной полосе.

Туда, где молод, дерзок, смел,
Где все постиг и все сумел

Ледоход

Лед ночью сплавила река...
Ведь у нее своя рука
Не на земле,
А выше...

И потому уже с утра
В реке белели облака,
Как будто лед уплывший.

Песня

Блеснула песня,
А не ремесло.
Душа на миг
Луч света уловила.
Вы — мастер...
Но не в этом ваша сила,
А в том,
Что песней душу обожгло.

Срок

Я ошибся в датах и в тебе.
И готов признать свою вину.
И вот срок, отпущенный судьбе,
Я наверно, в зоне протяну.

В этой зоне дни летят назад.
И вперед летит за годом год.
В этой зоне срок мне не скостят.
В этой зоне все наоборот.

В этой зоне ты бежишь ко мне,
Разрывая заросли ветвей.
В этой зоне лодка в тишине
Отойдет, качнувшись, от камней.

В этой зоне острый край бортов.
В синий цвет покрашена дюраль.
В этой зоне в сети рыбаков
Заплывет залетная печаль.

Дай вам Бог и зону, и вину,
И ошибку в датах и судьбе.
В этой зоне я свой срок тяну,
Чтобы вечно помнить о тебе.

Два возраста

Насмешлив он придет и рус.
И сразу все поймет, увидит,
И так меня возненавидит,
Что будет крепок наш союз.

Он станет мной. Он будет зол.
И обмелеют все причины,
Когда отыщет он глубины,
Мимо которых я прошел.
И вот тогда, собой судим,
Уйду, оставив совесть с ним...

Встреча

Бисквитные пирожные
На вытянутых руках
Дети несли осторожно,
Как белые облака.

Дети прошли в то утро,
Канули без следа:
Неизвестно откуда
И неизвестно куда.

Река

Мне снилось, что меня убили
И разлучили нас с тобой.
Мне снилось, что меня любили
И что рыдали надо мной.

Мне снилось, что меня не стало.
И солнце встало над рекой.
Мне снилось, что я льдинкой талой
Плыву в неведомый покой.

Мне снилось, что я вновь родился.
И снова встретился с тобой.
Мне снился свет,
Что тихо лился
Над этой вечною рекой.

Лидия ИРГИТ

* * *

Я поверну лицо к востоку.
Стряхну с ресниц своих росу.
Прильну к небесному истоку,
как дерево в большом лесу.

И солнце мне лицо осветит,
и свет зажжет в моей крови,
и ветрено нашепчет ветер
о ветреной своей любви.

Журчат весенние потоки
в потоках солнечных лучей...
Так зажурчал мне эти строки
один знакомый мой ручей.

Я ничего не сочинила,
я просто слушаю простор,
чтобы пролился сквозь чернила
тайги лиловый разговор.

И бережно, как житель местный,
в душе распахнутой несу
искристый свет любви небесной,
как дерево в большом лесу.

* * *

Поэт, не понимающий поэта,
мне непонятен, словно злобный черт.
В крови его не брызжут всплески света,
а только зависть черная течет.

* * *

Не надо любимых своих обижать никогда.
Обида людская не черное дело толкает.
Из чистого озера светлая льется вода.
Звонящая речка из чистых небес вытекает.

* * *

Слезой нечаянной одной
я покачнула шар земной.
Простите, земляки!
Чтоб пошатнуться от грозы,

достаточно одной слезы,
упавшей со щеки.

* * *

Словно раненный пулей сурок,
мое сердце и плачет, и ноет.
Лишь письмо твое в несколько строк
приручит его и успокоит.

* * *

Солнце ласково вскинет ресницы,
и на улице станет светлей.
“Просыпайся!” — щебечут мне птицы
тихим голосом мамы моей.

Перевод Евгения Семичева.

Саяна ОНДУР

Наброски осеннего ветра

Собирает ветер
грустную дань —
листопадный шорох,
звездопадный звон,
и разносит ветер
в звонкую рань
серебристый ворох
предрассветных дум.
Разбивает ветер
хрусткую стынь —
придорожных лужиц
застекленный дым

Кишиневские зарисовки

1

Над Кишиневским морем
летом знойным
висело солнце яблоком душистым

и в мареве прозрачном
тихо плыли две чайки.

П

Я выхожу из солнечного сада.
В моих ладонях гроздья винограда.
И крошечные лучики зажгутся
в янтарных ягодах,
как будто засмеются.

Сказка для взрослых

В темном зале темного дворца
темноглазый мальчик.
В темном царстве темные мечты,
темные рассветы.

В светлом замке светлого дворца
светлоглазый мальчик.
В светлом зале светлые мечты,
светлые рассветы.

Рано утром я пришла в Светлоград —
научите меня жить без оглядки.
Научил меня мальчик вольным песням,
научил меня любить жарким сердцем.
Он мне косы расплетал, целовал,
только к вечеру забыл —
разлюбил.

Поздно вечером пойду к Темнограду —
научите меня мстить без пощады.
Там мне сварят полуночную траву,
черному научат колдовству.

х х х

В Кунгуртуге сейчас зима,
ослепительна белизна,
над домами прозрачный дым.

Как давно не была я там!
Легкий скрип — снега чистого звук,
словно сердца размеренный стук,
и от печки неистовый жар
топит из бревен смолу.
Вспоминаю девочку я —
в сайзанак любила играть.
Верно, мать, показав на луну,
уложила смешливую спать.
Спи, ребенок с косичками, спи,
за печальные мысли прости.

В Кунгуртуге лунно сейчас.
Вдалеке я, родные, от вас...

х х х

Ты несчастен.
Я несчастна.
Одиноки мы с тобой.
У костра вечерних мыслей помолчим.

Ты не люб.
Я не любима.
Обездолены судьбой.
Пусть костер вечерних мыслей полыхнет за нас.
Ты вздохнешь,
а я поплачу —
у костра вечерних мыслей тает тишина.

Ты встаешь,
я поднимаюсь,
в день сияющий уходим,
а зола вечерних мыслей остается ждать.

х х х

Спасибо за счастье,
за трепет свиданья.

За бабочку вдоха,
вспорхнувшую с тела
за миг до касанья,
до прикосновенья,
за несомненность
прыжка с обрыва,
за бескорыстность
дарения мира...

Спасибо еще,
что позволил мне выжить
одной на краю
одичавшей капли.

Тайгана ОЧУР

х х х

Лишь ночь глухая звездами заблещет,
уж парень милую у юрты окликает.
А сердце девушки и рвется, и трепещет,
как норовистый конь в плену аркана.

Так день за днем,
за месяцами месяц
уже уплыли в волнах Эне-Сая.
Душа страшится все потери взвесить,
и прошлое в тумане исчезает.

Крылатая мечта — теперь бескрыла,
цветок любви завял на тонком стебле,
И лишь воспоминания уныло
бредут,
как путник,
пожелтевшей степью.

х х х

Горькую соль принимала за сахар приятный,
в речи завистников верила

невероятно.

Дружбы прекрасный бутон растоптала я нежный
и отвернулась,
и стала холодной и снежной.

Воспоминанием стала любовь постепенно.

Море бесилось меж нами,
плевало в нас желтою пеной.
Но лебедицей-сироткой оставшись на горькую муку,
прошрое счастье в душе,
как младенца,
я буду баюкать.

Весна

Все оживает, новизной блистая,
теплом весны прогрета плоть земли.
Курлыканье,
как кружева,
сплетают
летающие попарно журавли.

Зимы холодной песенка допета,
отходит в горы белизна снегов.
Она бежит от солнечного света,
чтоб спрятаться под тенью облаков.

И запах ветерка блаженно-пьяный,
он гонит прочь мороз, он так игрив!
Весна парит на солнечных полянах,
подснежники коврами расстелив.

И суслики снуют в ложбинках юрко —
уже им надоел подземный мрак.
Детишки собрались у белой юрты
и весело играют в сайзанак.

х х х

Ах, письма от дружка ко мне слетались,
как радостно щебечущие птицы...
Теперь их нет...
Наверное, устали
и им пришлось в пути остановиться.

Ни слуха и ни духа...
В алой выси
просторный воздух птичьим гамом полон.
Теснятся, не вмещаясь в сердце, мысли,
как в узких берегах теснятся волны.
О, тяжело на душе!

х х х

Ты уехал надолго в чужую далекую сторону,
я руки не пожалала тебе,
не посмела тебя проводить.
Почему же теперь,
словно стая зловещих воронов,
вереницей идущие дни
стали низко над сердцем кружить?

Мне тебя не хватает...
В какие свои размышленья
и в какие мечты погружен ты в солдатском кругу?
Вся душа моя страстно кипит,
как река в наводнение —
это знак,
что к тебе равнодушной
я быть не могу.

Переводы Э. Цаллаговой.

Мария ГАЛАЦЕВИЧ

Мгновение

Всего одно, одно мгновенье
я не могу предать забвенью:
твой взгляд неожиданный. Только взгляд.
Пред ним вся жизнь - как маскарад.
Всего одно, одно мгновенье...
А дальше - знаки провиденья,
сомненья грех, надежды свет:
судьба твердит то "да", то "нет".
Но пусть она со мной играет
и, как волна челнок, бросает,
и чаша, что я пью до дна,
то ядом, то вином полна.
Ведь есть в душе одно мгновенье —
я не предам его забвенью:
в нем взгляд неожиданный. Только взгляд.
Пред ним вся жизнь - как маскарад.

Чудесное утро

Приходит день - кончаются страданья,
когда, проснувшись, понимаешь ты:
что было, то ушло. И утро раннее
стирает в памяти горящие следы.
И, подтверждая этой жизни бренность,
звучат в душе забытые слова:
"Здесь жили страх и боль, любовь и ревность.
А нынче лишь свобода здесь жива".
И можно встать и миру улыбнуться,
и можно с новой силой полюбить...
И помнить, помнить: ты затем проснулся,
чтобы понять значенье слово "быть".

Танец

Танцуем. Двое. Остальное - мимо.
От звуков не осталось и следа.
И лиц чужих мельканье - пантомима.
Такого не бывало никогда...

Под пальцами лишь мышц стальных упругость,
и на лице дыхание твое.
И пляска окружающих - лишь глупость,
нам - никакого дела до нее.

Остановилось время и пространство.
И нет у вальса этого конца.
Лишь сердце в уши бьет, и очень страшно
дотронуться до твоего лица.

Виктория КОНДРАШОВА

Снег идет

Снег на город. Прохожие хмурятся.
Прячут шапочки в воротники.
Тихим шепотом шепчутся улицы,
хрустко катятся снеговики.

Небо тянется вниз и мешается
в снежных зарослях хрупкого дня.
Светофор одноглазый вращается
в пляске мглы ледяного огня.

Меркнет день. Фонари зажигаются.
Снег молчит и молчит за окном.
Лопнет где-то стекло. Разрыдается,
зябко вздрогнет продрогший наш дом.

Темно. Снежно. Морозец балуется.
Кто-то дышит, вздыхает во тьме.
Чья-то тень колыхается. Чудится...
Сказка кончилась. Время к зиме.

Брошенный Герой

Я иду в лучах прохладного рассвета.
Я один, и непривычно, грустно.
Под внимательным, суровым взглядом
древнего языческого бога
шел я в битву многие столетья.
А теперь один остался, без совета,
самому себе слугой и властелином.
Помню сечи славные, героев помню.
И немногие сейчас остались живы,
полегли мои друзья во время смуты.
Я ушел, оставив свою душу
лучшему целителю на свете:
время лечит все, любые раны,
и мои не стали исключением.
Вместо лат на мне рубашка из кевлара,
занят пояс кобурою вместо ножен.
Я иду на новое сраженье.
В этом мире есть еще герои.
Я еще не умер, повелитель!
Но Триар забыл сюда дорогу,
отвратил от мира свои очи.
Обречен на многие скитанья
выживший Герой в помятых латах.
Но я верю, грянет над горами
голос вездесущего Триара —
и опять взовьется наше знамя,
черное, как ночь, в руках Героя.

Кристина СТРУКОВА

Ноябрь

За окном бесконечный ноябрь.
Белые мухи летят.
Наверное, стоило жить,
чтобы только тебя узнать.

А правда, она одна,
в твоих и моих глазах.
И эту правду у нас
уже невозможно отнять.

Мой мир разрушен.
Тени на полу.
И взгляд скользит
по голым белым стенам.

Сначала бы начать, да вот беда:
простить друг другу мы не можем боли.
Ты - клетка, в которой я жила.
Я - птица, не привыкшая к неволе.

Мерген МАКАРЬ

Время

Стрелка секундная
медленно скачет.
Минута последняя
горестно плачет.
Нежных часов
мгновенная радость.
Вечных оков
мгновенная слабость.



ПУБЛИЦИСТИКА

ДВА КИТАЯ

Страна чудес

Очаровательная женщина, доктор географических наук Светлана Курбатская сегодня делится с читателями “Улуг-Хема” своими впечатлениями о поездках в Китай, куда ее приглашали неоднократно для обмена опытом, внедрения в китайскую науку новейших технологий. Однако при подготовке материала мы сознательно не касались научных аспектов ее путешествия, больше внимания уделив рассказу о людях, бытовом устройстве этой замечательной страны.

— В Китае я была четыре раза. Успела объездить множество провинций, так что китайские коллеги удивля-



Китай — 1998. Императорский летний дворец.

Справа С. Курбатская.

лись: сами они зачастую знают свою страну меньше. В первый раз я побывала там в 1996 году, на международной конференции, посвященной травяным экосистемам в 21 веке. Ехала с некоторым предубеждением. Представления были, как о достаточно отсталом государстве, “сидящем” на домашних производствах, с низким уровнем жизни. Сказывались и предубеждения, продиктованные рядом моментов нашей истории. Так что большого воодушевления не испытывала. Нас поселили в современной гостинице около императорского дворца. Комфорт, которым нас окружили, стал первым впечатлением из тех, которые постепенно, изо дня в день стали разрушать сложившиеся стереотипы. В Пекине в 1996 году было еще мало современных зданий из стекла и бетона, много традиционной архитектуры: красные колонны, черепичные загнутые крыши, улицы, где совершенно отсутствовали какие-либо правила дорожного движения. Шли торговцы, неся корзины на коромыслах, тут же ехали велосипеды, машины, тормозя и пропуская пешеходов. Посередине улицы водитель мог передумать, тут же развернуться, двинуться в другую сторону. Незабываемое впечатление: никакой спешки, люди не торопятся, не толкаются, не стараются обогнать друг друга. Идут себе и идут. Наши ужасались - сколько аварийных ситуаций! А аварий, по крайней мере, при нас - ни одной!

Все нижние этажи зданий торгуют и кормят. Кафушки - от 5-6 до 30 мест. Готовят тут же, все горячее, только что приготовленное и острое. Заходишь, садишься, тебе тут же подают чай, жареные соленые орехи, а потом начинается длинный конвейер разнообразных экзотических закусок. На званых вечерах мы насчитывали 24-30 смен блюд, но простой человек, конечно, довольствуется гораздо меньшим. Все это великолепие ставится на круглые вращающиеся столы.

Мы сначала очень мучились - тянешься палочками, со старанием ловишь какой-нибудь кусочек, осторожно несешь на тарелку, он выскальзывает, падает... китайцы добродушно хохотали над нами. Я, впрочем, быстро привыкла - в детстве в семье мы ели палочками, а когда мне исполнилось где-то 8-9 лет, я взбунтовалась, сказала отцу, что это отсталость и заставила его купить алюминиевые ложки.

Казалось, шикарнее ничего не может быть: они были такие красивые, блестящие!

Китайская кухня весьма специфична, и, боюсь, вкус словом не передать. Ближе к Пекину, на севере Китая, едят пельмени, лапшу, очень вкусные слоеные лепешки, похожие на нашу бову, курицу. Южнее курицу сменяет рыба, ее варят, целой подают на стол и со всех сторон очень ловко теребят палочками. И, конечно, китайская кухня - это обязательно овощи, все имеющиеся, очень острые, приправленные перцем разных видов. Несмотря на то, что городские китайцы практически не готовят дома, по причине развитости общепита, отношение к еде - культовое. Еда воспринимается как нечто священное. Один из наших аспирантов, полный человек, пытался в период командировки сидеть на диете. Его увещевали: как же можно, голодом не вылечишься, нужно кушать.

Коллеги очень доброжелательно относились ко мне, интересовались: к истокам, мол, приехала? Я удивлялась - к каким таким истокам? Они до сих пор считают, что мы - одно целое, одна история, одна территория. Я отвечала дипломатично: "Не совсем..."

У них совершенно иной жизненный уклад, иная психология, они прагматичные, деловые, стремятся сразу же конкретизировать, - что вы можете нам дать, что мы вам можем дать. Они доброжелательные, гостеприимные, разговорчивые, открытые... но не вполне. Есть темы, которые китайцы элегантно обходили. И в то же время очень интересовались жизнью России. А нам тогда было страшно трудно. Они темпераментно недоумевали: зачем вы такую великую страну позволили разрушить?

У нас был встречный вопрос: вы - коммунистическая страна? Или нет? Кстати, это та самая сфера, где китайцы не особенно охотно делятся своими размышлениями. Одно государство и два строя, переход к рыночной экономике, преобладание государственного имущества. Множество совместных предприятий, моментальное охватывание новых форм работы. Но все - под контролем государства.

Феноменальна их работоспособность и терпение. Мы поехали на экскурсию в другой город. Поезд шел по

бесконечным тоннелям. Стандартный тоннель длился от пяти до семи минут. Представляете, какие расстояния необходимо было пробить в скалах? Пересели на автобусы. На дорогах столпотворение, из колонны свернуть невозможно. Я сидела и представляла, сколько было бы сказано нашими российскими водителями, и в какой форме. А китайские водители - воплощенное терпение и спокойствие.

Сразу же нас поразило огромное количество музеев. Это такое богатство! И самое интересное, что китайцы идут в них с детьми, совсем маленькими. Ребенку еще года нет, а его уже ведут приобщаться к культуре.

... Потом я ездила в Китай в 1998-ом и 2000-ом годах. На улочках Пекина было все меньше велосипедистов. Под снос шли старые улицы, постепенно терялось лицо азиатской столицы. Насаждались современные материалы, стекло и бетон. Нет, архитектура красивая – будто кубики, сложенные на разных уровнях, это дает эффект перспективы, простора. Очень красиво оформление балконов и веранд. Но старый самобытный город ушел. Китайцы признаются, что поздно спохватились. Тем не менее, Пекин все более приобретает западный шик, и в этом очень видно подражание Шанхаю и Гонконгу.

Получили большое развитие южные провинции Китая. Строятся и обновляются южные города. Заметно богатеют крестьяне. На юге дома открыты - двory, первые этажи традиционно отданы под хозяйственные нужды. Огромны поля, и поражает, что на этих пространствах не увидишь ни трактора, ни комбайна. Необозримые просторы поделены на участки, которые крестьяне берут в аренду у государства на длительный срок. Наделы обозначены простыми кантиками из земли. Когда смотришь сверху, земля кажется огромным ковром, вышитым прекрасным орнаментом. Кстати, проведенная властями реформа минимальна - частные наделы существовали всегда.

Урожай сдают, продают. Выращивают огромное количество культур, но преобладает, конечно, рис. На юге собирают три урожая, четвертый сезон рисовые поля лежат под водой, отдыхают. Удивительно было видеть крестьян на полях - это как иллюстрация к урокам истории: смуглый

узкоглазый человек в коротких штанах и рубаше навыпуск, а на голове - плетеная широкополая панама. В этой же одежде они идут на базар продавать продукцию. Крестьяне живут очень просто.

Рынок переполнен, все дешево. Килограмм персиков можно купить за один юань, восьмую часть доллара. И то - идет страшный торг. Торг увлеченный, талантливый, до крика. Цену сбрасывают наполовину и больше, до трети и четверти. Я просила девочку-переводчицу: не торгуйся, давай купим по этой цене, люди бедные, нехорошо. Она смотрела на меня и не понимала: как это, не торгуйся? Как это, не надо? Надо. Ей с другой стороны предъявляли претензии: почему ты торгуешься за иностранцев? Она отвечала: это наши друзья.

На китайском базаре можно увидеть все. Самые необычные формы. Капусту выращивают не кочанами, а листьями. Бобы - длинные зеленые палочки, их тут же очень быстро жарят, и через три минуты они готовы к употреблению. Огромное разнообразие фруктов и овощей, вплоть до того, что вам предложат купить корни лотоса. Да, этого романтического цветка, который в Китае выращивают для гастрономических целей и очень любят. Считается, что корень лотоса полезен для здоровья. Но... когда все это фруктовое-овощное обилие и разнообразие готовят, вкус получается одинаковый. Горячая и очень острая пища. Не поймешь, что там - лотос или другое.

Горный юг Китая. Каменистые террасы. Китайцы коромыслами носят наверх землю, удобряют ее. Земля - это святое, потому что народ растет и территорий не хватает. Те, кому не досталось земли, идут в город, нищенствуют, метут улицы, чистят обувь. Попрошаек гонят, оскорбляют, шикают на них. И все это - несмотря на то, что в Китае по-прежнему действует лимит на детей. Девочки им не нужны, рождение девочки - это трагедия, потому что она - работница, со временем уходящая в другую семью. А за рожденных мальчиков государство выплачивает определенные дотации. Детей "сверх лимита" государство не регистрирует. Они живут без документов, без паспорта, как бы вообще не существуют. Лишь если умирает старший, они становятся полноценными членами общества. Но

природа гибка - в последние годы в Китае стало рождаться много двойняшек. Популяцию пытаются корректировать, а она растет. Когда китайская супружеская чета выезжает жить в другую страну, она непременно старается завести еще детей. Потом возвращаются – и в этом случае государству деваться некуда, у ребенка есть свидетельство о рождении.

Думаете, при таком ограничении детей балуют? Китайские родители суровы. Я имела возможность в этом убедиться, не только когда увидела, как младенцев тащат в музеи, но и в других ситуациях. Например, иностранцы в Китае пользуются спецтранспортом. А профессор Бугровский настоял, чтобы мы в одну из поездок поехали на народном поезде. Едем. Куча семей, множество детей. У нас на глазах – из балованный малыш. Выкорячивался он и так и эдак, всех довел. Мать сделала ему замечание раз. Другой. Потом поймала и в буквальном смысле слова жестоко отлупила. Кстати, в этом же народном поезде мы столкнулись с еще одним аспектом китайской действительности. На поездной полке – тюфяк. Каждому новому пассажиру меняют лишь простыню. Мы пришли в ужас. В еще больший ужас мы пришли, когда увидели, как пассажиры живут в этом поезде: все плоды жизнедеятельности – обертки, упаковки, кусочки, косточки, весь мусор располагается вокруг едущих... Это просто одна из особенностей - не убирать за собой мусор. И наши попутчики страшно пугались, видя, как мы каждую бумажку собираем в пакет. Рядом с нами сидела супружеская пара. На одной из станций они купили абрикосы. Они их съели, и мусор от абрикосов усеял все. Потом абрикосов захотелось нам. Мы их купили, съели, мусор собрали в пакет. Супружеская пара смотрела на нас испуганно и больше ничего до конца маршрута не ела. Профессор Бугровский укоризненно качал головой: как можно третировать людей иных традиций?.. Зато нет предела телесной чистоплотности. Если китаец добрался до крана – он будет наслаждаться водой полчаса: фыркать, обтираться, чистить зубы...

... Мы приехали на экскурсию в горы. Склон был выложен примерно тысячей длиннющих лестниц, перемежающихся площадками для отдыха. К концу экскурсии

мы изнемогли. Ноги не шли. Мы спросили сопровождающих: как долго вы строили эти лестницы? Они ответили: очень долго, очень! Около года!

Строят без всякой техники. Стройматериалы и растворы поднимают на высоту коромыслами, в ведрах. Из особо продвинутой техники – лебедки. И такими методами они могут построить за месяц многоэтажную гостиницу. Мы, было, сунулись проверить - какое там может быть качество? И не нашли ни одного неряшливого шва. Вы представляете себе - в течение месяца строительный участок загорожен сеткой, на его территории днем и ночью (ночью - при фонарях) копошатся, словно муравьи, люди, а по окончании срока вокруг уже и цветники разбиты, озеленение завершено, дерн положен, а внутри гардины висят и все готово к жизни. Мы спрашивали: как же вам людей не жалко, почему вы не используете технику? Нам отвечали: нам очень жалко безработных людей, поэтому мы не используем новую технику. Они так строят, что в городе становится тесно. Люди живут близко и очень культурно, не мешая друг другу. Даже молодые слишком громко не включают музыку. Единственный момент - по утрам разносчики продают молоко, питьевую воду в бутылках, громко кричат, заывают.

2003 год. Уже не сравнишь с Пекином 1996 года. Они очень быстро растут. Огромные проспекты. Каждый район города обихожен. Мегapolis: изумительные по удобству дороги, неуловимый ритм жизни, сияние световых реклам. Университетский городок: учебные корпуса, студенческие и преподавательские общежития, спортзалы, библиотеки, магазины, все это огорожено и располагается на берегу притока речки Син-цзян, Ян-цзы. Раньше набережная была, мягко говоря, неприглядна: деревянные мостки да тина, смотреть тошно. И вот в последнюю поездку наш сопровождающий из аэропорта предлагает: поехали по набережной? Я удивляюсь - что хорошего-то? Но едем. И видим мы широкую набережную, оба берега выложены красивым камнем. Подсветка. Тянется пешеходная дорожка, обсаженная кустарником, сделаны маленькие лестницы, поставлены каменные скамьи и столики, установлены скульптуры, разбиты цветники. И среди всей этой красоты студенты гуляют. Читают, целуются. И сделано все это за один год.

И все равно это - два Китая. Есть глубокая деревня. Профессор, который нас пригласил в свою страну, детство провел в доме с земляным полом, где кроватями служили циновки. Табуретки, столы, тесанные из камня, рядом на том же полу хранился урожай овощей. За небольшой ширмой постель, то есть циновка. Там было все не просто, а очень просто - это был иной уровень цивилизации, иной уровень бытия. Позднее, в период репрессий, наш профессор вновь оказался в подобных условиях, но Мао спас цвет интеллигенции, организовав специальные лагеря... Сейчас наш знакомый вполне благополучен, покупает четырехкомнатную квартиру, причем напополам с государством.

Один Китай жадно хватается новые знания и технологии. Учащиеся Китая пропадают в студенческих городках день напролет - не покидают аудиторий, читальных залов, общаются друг с другом, занимаются на спортивных площадках и в бассейнах. В ульях общежитий их ждут трехъярусные постели и тумбочки для вещей, на которые едва уместить локоть. Они любопытны, раскомплексованы, любят своих преподавателей до того, что тем не нужно беспокоиться о таких мелочах, как забытый зонтик. Это не раболепная неумная любовь. Они готовы в любой момент облепить преподавателя и засыпать вопросами.

И второй Китай. На одном из фото я стою на высокогорном плато, где растут мандарины. Прежде, чем здесь стали расти эти золотистые сладкие плоды, китайцы корзинами принесли на горы, на голые камни землю. Удобрали эту землю. Потом посадили там траву. В следующий сезон посадили еще одну траву. И только после этого они высадили там мандарины.

И в этих двух ипостасях можно увидеть современный Китай. Жадный, молодой Китай, который воспринимает новый образ жизни и новые технологии с безумной скоростью, который развивается, как ростки волшебных бобов из анимационной сказки "Джек в стране чудес". И древний, традиционный Китай, чья мудрая душа из глубины веков, несомненно, определяет будущее этой загадочной страны.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕИ

К-Э. Кудажу. Россия моя, Тува моя	3
Цена росинки.....	4
Монгун-Тайга—Серебряная тайга.....	4
М. Хадаханэ. Беседы с Кудажу.....	7
С. Комбу. “Я родился среди синих гор...”	12
К. Черлиг-оол. Мыслитель с реки Ак.....	15
С. Сюрюн-оол. Гость.....	18
Что это?.....	19
Косули	20
Ночное нападение.....	21
А. Даржай. Бессмертие.....	25
Коршун. Всему свой черед.....	26
Сердце. Одинокое окно.....	28
Раньше.....	30
Девочка в очках.....	31
То буду я.....	32
О. Бузыкаева. Первый мэр Кызыла:	
Комиссар с золотым зубом.....	34

У НАС В ГОСТЯХ – “СИБИРСКИЕ ОГНИ”

В. Зеленский. История обязывает.....	47
Н. Березовский. Ожидание.....	53
А. Кузнецова. Александрийская библиотека.....	59
Э. Русаков. Вещи, над которыми нельзя смеяться.....	70
В. Берязев. На большом Яломане.....	73
“На колышек от закидушки.....	73
Документальный фильм.....	74
“Ангел мой...” Местоимение.....	75
Виктория Измайлова. Все грустно и верно на свете.....	76
“Руины имперской деревни...”	77
“А дверь балкона могла открыться...”	77
Алексей Витнер. Живого почерка наклон.....	78
“Ермак в заветные года...”	79
“Настояла весна, убедила...”	80
Юлия Пивоварова. Свадьба.....	81
“Упрямство пишущей руки...”	81
Станислав Михайлов. “Холодно в небе сгорает заря...” ..	82
Внутренняя Азия.....	82

Вячеслав Тюрин. “Сила нежности — в наших годах...”	83
“Стоит усадьба...”	83
“Я недалеко от мысли, что в раю...”	84
“Все ярче с каждой осенью листва...”	84
Баир Дугаров. Звезда кочевника	85
Из цикла “Протяжные гимны”. Тангара	85
Даурия. Мои. Кочевые	86
Азия	87

ПРОЗА

К. Черлиг-оол. Ленок	90
Молчаливая смуглая женщина	91
Шериг-оол или Черлиг-оол?	92
М. Доржу Сережки. Письмо матери	93
Голубь	95
Ч. Чоптун-оол. Легенда о Шошкаале	96
Ю. Вотяков. Утром по Енисею	108
Счастливого пути, птицы	109
Неотправленное письмо	111
М. Ховалыг. Хамаан-Хамаан	113
Э. Мижит. Из цикла “Старый город”	118
Дверь, скрипящая на ветру	118
Из цикла “Некто”. Кошмар	126
М. Темина. Вера	130

ПОЭЗИЯ

Евгений Антуфьев Ночь беспредела. Три дороги	138
Велосипед. Память	139
Бессоница. Ледоход. Песня	140
Срок. Два возраста	141
Встреча. Река	142
Л. Иргит. “Я поверну лицо к востоку...”	142
“Поэт, не понимающий поэта...”	143
“Не надо любимых своих...”	143
“Слезой нечаянной одной...”	143
“Словно раненный пулей сурок...”	144
Солнце ласково вскинет ресницы...	144
С. Ондур. Наброски осеннего ветра	144
Кишиневские зарисовки	144
Сказка для взрослых	144
“В Кунгуртуге сейчас зима...”	145

“Ты несчастен...”. “Спасибо за счастье...”	146
<i>Т. Очур.</i> “Лишь ночь глухая звездами заплещет...”	147
“Горькую соль принимался за сахар приятный...”	147
Весна.	148
“Ах, письма от дружка ко мне слетались...”.	
“Ты уехал надолго в чужую далекую сторону...”	149

СТУДИЯ

<i>М. Галацева.</i> Мгновение. Чудесное утро.....	150
<i>Г. Соколова.</i> Танец.....	151
<i>В. Кондрашева.</i> Снег идет.....	151
<i>И. Принцев.</i> Брошенный герой.....	152
<i>К. Струкова.</i> Ноябрь.....	152
<i>М. Макаръ.</i> Время.	153

ПУБЛИЦИСТИКА

ДВА КИТАЯ. Страна чудес.....	154
------------------------------	-----

